Затемнение. Флэшбэк. 1954 год. Блат-хата в Комсомольске

Какой-то шалман в бараке, недалеко от железнодорожного вокзала в Комсомольске. Приглядевшись, мы начинаем понимать, что в замызганной общаге находится перевалочный пункт для зэков, освободившихся по амнистии. Организовали его Мыкола — Николай Степанович Гринько — и отец Климент. Апостол, если не забыли.

Он здесь же перевязывает бинтом руку чахлому старику, лежащему на грязном матрасе.

Пальцами Климент зачерпывает из баночки расплавленную смолу и прикладывает к ране на плече. Старик стонет.

— Терпи! — говорит Апостол — В лагере было больнее. Забыл уже?

Отца Климента по-прежнему так зовут — Апостол.

— Отправлю тебя на пароходе в Хабаровск, только навигация откроется. Там мои люди помогут выправить литер на поезд. И поедешь в свой Воронеж. Еще и жену успеешь увидеть, и ребятишек. Выросли, небось, уже. Женихи… Или у тебя невесты?

Старик благодарно улыбается щербатым ртом.

И мы вдруг видим, что не такой уж он и старик.

За столом сидит компания полууголовного вида. Все в шерстяных пиджаках, в прохорях. Для настоящего урки прохоря и *пенж* — вещи первой необходимости. Еще Коля-финкель — нож с выкидным лезвием на пружине.

За голяшкой сапога.

Костя Ярков тоже среди них. Он как раз недавно бросил институт. Вернулся в ту среду, где чувствует себя своим. Костя одет в синие офицерские брюки-галифе, двубортный пиджак на плечах. Из-под пиджака выглядывает шелковая рубашка. Воротник на замочке. Тогда многие так одевались.

Режутся в карты — на интерес. И пьют водку.

В углу, нахохлившись как ворон, сидит на каталке Николай Степанович Гринько. Изображает из себя побирушку-самовара. Их по-прежнему хватает на железнодорожных вокзалах. Безногие фронтовики-калеки. Промышляют подаянием, мелким воровством, продажей карт и порнографических открыток.

---

* *Главы из романа.*

** *Окончание. Начало в №№ 4,5 за 2019 год.*

На самом деле Мыкола сам организовал перевалочную блат-хату для выходящих на волю зэков. Такая своеобразная кадровая служба для отбора рабочей силы. Слушает разговоры, присматривается. Отбирает для своего дела крепких мужиков.

Николай Степанович сколотил артель золотарей. Сбылась его мечта. Не мудрствуя лукаво, назвал артель «Амгунь». Участки артели разбросаны от золотоносного ручья Йорик до верховий Амгуни: Бриакан, Веселая Горка. На Мар-Кюеле, в Аяно-Майском районе, тоже стоят его люди. Люди ржавого фарта. По-воровски *ржа*, *рыжье* — золото.

И уже к границам Магаданского края подбирается Николай Степанович. В органах давно знают, что сбежал он с зоны, но не трогают. Власти не велят. Артель «Амгунь» дает стране золото. А край чем отчитывается перед Москвой? Правильно. Ургальским углем, нанайскими кедрами и Мыколиным золотом. Ну, еще охотоморской сельдью, рыбой кетой и черной икрой, калужьей.

Хотя раньше, каких-то пять лет назад, дальневосточники отчитывались кубатурой пробитых тоннелей и метражом отсыпанной трассы. Почти все позакрывали и законсервировали на БАМе. Лагеря разбежались.

А Николай Степанович смикитил все заранее.

Осенью в поселок старателей на плато Мар-Кюэль прилетал Косыга. Собрал Николай Степанович Гринько своих начальников участков и бригадиров. Косыга сказал: «До плана по стране совсем чуть-чуть не хватает золота. Что вам надо, мужики, чтобы план выполнить?»

Мужики ответили: «Дай нам технику и людей!» Николай Степанович обронил тогда: «На Кондере платину нашли… Россыпью».

Косыга встрепенулся: «Платину, говоришь?! Присылай карты и обоснование! Технику дам, а людей сам подберешь».

В тайгу кинули трактора и бульдозеры, драги и мониторы.

На плато Кондер, уже известное в мире, пошли первые партии геологов.

Кондер — как будто кто-то его циркулем нарисовал. Горный хребет почти идеальной круглой формы. Какого-то космического происхождения.

По-настоящему Кондер откроют только через двадцать лет.

Сидящие за столом картежники говорят о власти. В России во все времена так. Про царя, отца родного, и про бояр, казнокрадов. Хоть при Сталине, хоть при Путине.

В ночлежках, на малинах, в общагах и на вокзалах тогда, в пятидесятых, все больше спорили о расстрелянном Берии и обсуждали амнистию.

Сначала лениво перебрасываются:

— Такая власть — ей бы только на нас… класть!

— А что власть?! Гуталинщика отравили, а Берию не расстреляли… Нет! Я не верю! Куда-то спрятали.

— Посмотрим, как народишко по новой стучать начнет!

— За что сидели-то?! Полстраны посадили, полстраны расстреляли!

— Так у них все было продумано… Система по очистке кадров.

Тут Костя влазит:

— Не знал Сталин, что на местах творится! Не зря он Ягоду с Абакумовым и Ежова в расход пустил. Дошла очередь до Лаврентия Павловича.

Постепенно спор накаляется. Разнокалиберный народ собрался на блат-хате. Тут и уголовнички-рецидивисты, и парочка политических — преподаватели какие-то. То ли историки, то ли просто ленинцы. Такие не сдаются! Ортодоксы из Хабаровска, которые до сих пор верят в человечность учения Владимира Ильича. У одного, как будто специально, фамилия Царек, Виктор Фадеевич. Кличка почему-то Опричник. Оттянул свою десятку вчистую.

Были еще агроном из-под Биракана, бывший вохряк с аэродрома, из-под Хурмулей, рядом с поселком Старт. И Костя Ярков сидел вместе с ними. Он не особо скрывал, что служил в органах и ему приходилось ловить зэков.

Опричник с Костей зацепились.

Костя:

— Народ здесь ни при чем! Ясно же сказано, что классовая борьба, по мере победы социализма, обостряется… Вот они и повылазили. Кулаки недобитые, диверсанты, бывшие царские офицеры, князьки и графы. А особенно партийцы! Вот уж кто рвался к власти… Вагонами с БАМа вывозили кирпич и пиломатериалы! Сам отвечал за погрузку.

Опричник:

— Ты партийцев не трожь!

Тут он делает паузу. В картах масть пошла.

— А мы тебя дамой, а мы тебя — королем! Сейчас *выбью лоха*…

Выбить лоха — выиграть в карты у простака. За десять лет *на поселухе* Опричник, хотел того — не хотел, поднабрался блатного жаргона.

Феня — она, как вша лагерная — сама себе дорогу найдет.

— Партийцы отстаивали честную линию везде и всегда. И даже на поселухе не шестерили. А вот почему народец ваш, богоносец и страстотерпец, строчил доносы на мать, на отца, на сестру и на брата?! И в охранники служить рвался! Очередь была в НКВД. Ты-то, небось, после фронта в учителя или в охотники не пошел. Не одного зэка на снег повалил, а?! Сам вчера, по пьяни, хвалился, что меткий снайпер. С бедра, по-македонски, бьешь!

Костя вскакивает и бросает карты на дощатый стол:

— Мало я вас валил, падлы! Власть им плохая… Предатели!

— Я предатель?! Да я за советскую власть жизнь отдам… Я под Корфовской кулацкую банду вырезал!

Теперь мы понимаем, почему Царька прозвали Опричником. Он был опричником. Но не у царя, а у Сталина.

И Костя тоже был опричником.

Они хватают друг друга за грудки так, что с Костиного пиджака летят пуговицы. Гринько нарочито шумно возится в своем углу. Между Костей и Опричником встает Климент. У Апостола костистое лицо с желтой кожей, глубокие, во впадинах, глаза. Ходит как-то бочком, левую руку к себе тянет.

— Разойдитесь с миром. И ты неправ, Костя. И вы, Виктор Фадеевич. Всякий народ заслуживает своей власти. Пророк Исайя об этом сказал.

— То есть все, что происходило в лагерях, правильно?! Мы все заслуженно отсидели?

Апостол думает.

— Такое испытание выпало на долю русского народа. Крест… А больше, чем вынесешь, Бог креста не дает.

Царек уже подостыл.

— О! Еще один защитничек народа… Попик! Вот вы нам и скажите, отец Климент, как церковь относится к Советской власти?! Вас же отделили от государства! И давили вас не меньше мужиков и партийцев. Где же истина?!

Все затихают в шалмане. Видно, что слово Климента здесь авторитетно. Ждут ответа. Многие наслышаны, что Апостол — повторник, из лагеря сбежал вместе с Мыколой. Почти что *на дармак* ушли. Дармак — преступление без риска.

Никто не знает, что в том побеге остались лежать на снегу четверо заключенных. Да и сторож с разъезда до леска не добежал. Нет, не добежал…

А так-то, конечно, без риска…

Апостол вздыхает и крестится.

— Трудный разговор. А истина прежде всего в том, что вы ждете, на чью сторону я сейчас встану. В вашем споре. Власть плохая или народ? В России всегда винят кого-то. Удобнее всего — царя и его бояр.

Не пейте больше водку! Перережетесь ножами…

Всякая власть от Бога. Чтоб вы знали… А что получилось с самого начала — помните? В семнадцатом году.

— Помним, помним! — неожиданно вмешивается Мыкола Гринько, видимо, задело за живое. — Большевики верующих попересажали, кресты вместе с колокольнями взорвали. В божьих храмах конюшни завели. Для скотины! Вот вам и вся ваша власть. От Бога!

Отец Климент отвечает:

— Правы вы, конечно, Николай Степанович. Внешне так оно и было!

Все давно бросили карты, отодвинули стаканы. Слушают. Серьезный пошел разговор, настоящий. Не пьяная перепалка.

— Но давайте посмотрим глубже. Разве власть виновата в том, что люди сами отходили от веры? Власть пожинала урожай неверия. А зерна бросали все мы. И простой народ, и купечество, богатеи, чиновники, интеллигенция… Какой пример они подавали?!

Царек перебивает:

— Одни попы, значит, сохраняли веру!

Климент опускает голову:

— Священники вели себя хуже всех. Они были не служителями Бога, а поповским цехом ремесленников! Атеизм, пьянство, разврат. Все это стало обычным явлением в среде священнослужителей. Несли слово Божье, а сами в Бога не верили. Посмотрите, что делали дети священников? Из русских монастырей, хранителей веры, остались совестью христианства только Саровский монастырь, Валаамский, Оптина пустынь и Дивеевский…

Мне сидельцы рассказывали, что творилось в женских монастырях. Вот вы сказали про скотину в храмах. А кто из священничества заступился за церкви? Нельзя пускать зверье в дом Бога!

Тут Апостол, сам того не зная, повторил мысль православного священника из далекого грузинского городка Гори, когда тот узнал, что мальчишки, по научению маленького Сосо, загнали в синагогу свинью.

— Так что же делать?! — спросил Костя. Задал вечный русский вопрос.

Кто-то же должен был задать его в нашем киноромане.

— Все, что случилось с нами и со страной, чудовищная ошибка. Она будет исправлена. Надо не власть клеймить, а поддерживать свое отечество. Что бы в нем ни происходило.

Царек всплескивает руками:

— Вы извините, отец Климент! Но вы у нас какой-то краснопузый попик получаетесь!

— Я вам не попик, — строжает Апостол, — а настоятель православной церкви!

— А конкретно, вот мне — что делать?! — настаивает Костя.

Климент горько смотрит на него:

— Всем нам, Константин, надо молиться. Мы забыли, как это делается. Молиться и помогать друг другу.

Он вновь склоняется над больным. Плечо у старика уже перевязано.

На середину комнаты выезжает на каталке Гринько. И все вдруг сразу понимают, кто здесь хозяин.

Такая харизма у Мыколы. Лицо словно вытесано из скалы.

Николай Степанович строго говорит:

— Вот вас двоих, — он тычет пальцем в марксистов, — могу взять по снабжению.

Опричник возражает:

— Я, между прочим, доцент кафедры новой истории!

— Кому ты сейчас нужен, доцент? Сховаешься на пару лет в тайге, потом тебя, глядишь, в партии восстановят. А ты…

Показывает на Костю.

— А ты пойдешь в мою охрану. Дело, как я вижу, привычное?

Костя пьяно соглашается:

— Привычное!

— *Целкость* не потерял?

— Белку в глаз бью!

Климент возражает:

— Николай Степанович! Не надо ему сейчас в стрелки… Пусть со мной в церкви останется. А потом я его истопником на Дуссе-Алинь пристрою. Вас же просили помочь найти человека. Ему сейчас надо без людей побыть. Душу очистить.

— Как скажете, батюшка… Ну, мне пора. Засиделся с вами. Благословите!

Он складывает чашей ладони перед собой. Апостол крестит его.

Входят два плечистых битюга в телогрейках, подхватывают на руки вместе с каталкой. Мыкола обхватывает их за бычьи шеи.

Опричник смотрит вслед ушедшим.

Спрашивает у Апостола:

— А он кто? Этот обрубок…

Отец Климент строго отвечает:

— Он как раз из тех, кто отечеству помогает. Золото он моет в тайге.

Косте Яркову занятно: недобитый бандеровец, которого он мог легко подстрелить на том полустанке, обрубок… Теперь помогает стране. Добывает драгоценный металл. А он, Костя Ярков, чалдон и офицер НКВД, режется в карты на интерес с уголовниками. И хлещет водку стаканами.

Чудны дела твои, Господи!

Костя куражисто говорит:

— Знаешь, отец Климент! Я сам себе хозяин. Я тоже хочу добывать золото. Только не для страны, а для себя! Для страны я много чего уже наделал…

И обводит всех мутными глазами. Правда, в глубине души Костя понимает, что заплутал он по жизни. Заплутал.

Затемнение.

Старик на матрасе возится и охает.

Весна 1956 года. Дуссе-Алиньский перевал

Костя достал из кармана спички. Пальцами уже взять не мог, вытянул из связки зубами. Принялся чиркать о брезентушку, оставшуюся от кулемки. С третьего раза спичка зажглась. Да взял неловко — опалило губы. Пришлось спичку выронить. Упала в снег, но еще долго, секунд десять, шипела и искрилась. Потому что серная.

Так. Нужно все сделать по-другому. Во-первых, постараться спичку зажать в зубах за самый кончик. Во-вторых, тереть над шалашиком из бересты и веток. Чтобы, если и упала, то в самый костерок.

Второй раз тоже не получилось, третий… Сильно торопился.

На четвертый раз навис над дровишками и зажженная спичка упала точно посередине. Береста сразу вспыхнула, огонь лизнул ветки. Затрещал лапник, повалил смолистый дым. Его подхватило порывом ветра. Через несколько минут костер расплавил снег до самого мха. Пригодились вовремя приготовленные толстые и сухие ветки.

Пришлось даже притушить костер, чтобы не забивало порывами ветра.

Костя отвалился на спину. Почувствовал, как закололо мелкими иголками подушечки пальцев. Чувствительность возвращалась. Но зато сломанная нога онемела совсем.

Костя набил котелок снегом, натаял воды. Вернувшаяся подвижность тела сильно приободрила его. Захотелось есть, а в рюкзаке он нашел только чай-заварку, горстку лимонника и половину буханки серого, раскисшего хлеба. Даже банку консервов не захватил с собой. Зато нашлась толстая луковица и соль. Соль всегда лежала в карманчике рюкзака, в спичечном коробке, обернутом фольгой. Теперь нужно было освежевать соболька. Он привычно, чулком, снял шкурку, распотрошил зверька. Мяса было совсем мало, поэтому он тщательно промыл потрошки и еще раз натаял воды.

Кучум следил за хозяином во все глаза. Костя погладил его локтем. Руки были в крови. Сначала он хотел отдать собаке голову выпотрошенного зверька. Но потом подумал, что от целого соболя навар будет гуще. «Сейчас сварится — отдам тебе половину!»

Кучум с удовольствием облизал его испачканные кровью руки. Стал пастью хватать розовый снег, куда Костя выплеснул воду, в которой помыл тушку.

«Зверь! — подумал Костя — Уже давно поймал бы куропатку и приволок хозяину…»

Кучум смотрел виновато. Да и то сказать. Какая куропатка, если ветер завывал по-прежнему, а деревья скрипели и ухали. Зато в снежной хижине человека и собаки теперь все наладилось.

Котелок Костя подвесил над огнем. Костер удалось поддерживать быстро нагоревшими углями. И теперь он горел ровно и надежно. Снежные стенки хижины почти не таяли. Толстые ветки Костя складывал не колодцем, а надьей — параллельно друг другу. Так они горели долго, и не давали высокого пламени. Он тщательно, на кусочки, разрезал тушку соболя, заправил луком и посолил. Накипь снимал ложкой. Ложка всегда хранилась за голенищем сапога. Привычка с фронта. Да и в лагере все зэки так делали.

Варево коричневатого цвета пахло аппетитно. Почему-то отдавало хвоей стланика. Соболь кормится не только полевками, но и собирает орехи.

Костя выхлебал половину котелка. Вторую половину вывалил перед Кучумом. Лайка с удовольствием хватала жесткие кусочки мяса. Костя тщательно помыл котелок, вскипятил воду и заварил чай. Сыпанул туда лимонника. Потянуло в сон, но Костя знал, что теперь надо заготовить дров на ночь. Волокошу он решил мастерить завтра. Иначе ему пришлось бы разрушить свое временное жилище. Широкие лыжи стали боковой стенкой хижины.

Костя выполз наружу, прихватив топорик. Недалеко он приметил сухую лиственницу. Не толстый ствол, такая как раз сгодится для костра. Полз на животе и думал только об одном: как бы не сбить шину на ноге.

Лиственницу повалил удачно. Комлем в сторону шалаша. Так ему казалось, что в сторону шалаша. Пополз обратно, лесину тянул за собой. Мешали ветки — цеплялись за снег. Пришлось ветки обрубить.

Бросать их было жалко, тоже сгодились бы для костра. Пелена по-прежнему стояла плотная.

Прополз несколько метров и понял, что хижину потерял. Ругнул себя. В рюкзаке лежал клубок тонкой бечевы, можно было привязаться за ствол елки. Сейчас

вернулся бы по веревке. Стал нюхать воздух, чтобы уловить дым костра. Но ветер крутил в разные стороны. Дымом пахло то слева, то справа. Подумал: «Надо рассчитывать все, до сантиметра».

Но уже не паниковал. Почему-то знал, что все равно вернется к костру.

Приподнял голову и громко позвал: «Кучум! Ко мне!»

Лайка появилась откуда-то сзади и, показалось, с недоумением посмотрела на хозяина.

Через минут десять Костя дополз, вслед за Кучумом, до своей хижины. Угли костра еще не погасли, и Костя сразу присунул дерево в костер. Сухой листвяк тут же взялся пламенем. Опять мешали ветки. Пришлось снова выползти и теперь очистить весь ствол. Отрубленные ветки он собирал и аккуратно складывал. Потом понял: надо лесину разрубить на два бревна, уложить в огонь рядом. Вот и получится надья.

Каждый удар топора отдавался в ноге. Заполз мокрый. Рубил все время полулежа. Но теперь ему было не страшно. Он мог греться и сушить одежду возле огня.

Раненая нога снова заныла, и Костя подумал, что это хорошо. Циркуляция крови восстановилась. И даже ступня, кажется, отошла.

Кучум лег рядом, свернулся клубком, спрятав нос в пушистую шерсть. Так спят волки. Они берегут свою *чуйку*.

Скоро от одежды пошел пар. Костя забылся с одной мыслью: «Хватило бы дров до утра».

Ночью ветер сменился, и снегом присыпало левую стенку шалаша. Но костер не забило. Стоило подбросить веток, заготовленных ночью, и пламя встрепенулось. Костя поставил чайник на огонь и выполз наружу. Буран закончился так же внезапно, как и начался. На Дуссе-Алине всегда так. Ночью воет и ухает, а проснешься утром — в тайге звенящая тишина. Кажется, что твой шепот слышен до самых отрогов. Дым от костра не стелется по земле и не рвется клочьями, а ровным столбиком поднимается в небо. Не шелохнет. Особая тишина, которая знакома любому таежнику.

Он перевалился на бок. Нужно было сходить по-маленькому. Отлить. Пустяковое, казалось бы, дело. Но пришлось повозиться с одеждой. Мешала забинтованная нога. Долго путался с широким поясом ватных брюк, с крючками и пуговицами ширинки. Зато ощутил, что кальсоны — солдатские, бязевые, — за ночь высохли.

Кучум наблюдал за возней хозяина. Увидев желтый прострел в плотном снегу, подошел к дереву и задрал ногу. Проявил мужскую солидарность.

Костя засмеялся. Как он мог застрелить такую собаку?!

Костя попил чаю с остатками лимонника. Все это утреннее время он думал о том, как ему из лыж и веток сделать волокушу. Самому ползти по распадку не получится. Шина свалится с ноги. От боли он будет терять сознание. Единственный выход — волокуша.

Вчерашние неудачи с костром доводили его до отчаяния. Оно, отчаяние, и было всякий раз причиной того, что человек, попавший в беду на таежной тропе, переставал себя контролировать. Отчаянье доводило до гибели.

Нужно заранее продумывать каждую мелочь.

Если вытащить лыжи из-под снега, то обрушится хижина. Допустить такого нельзя. Если ничего не получится с волокушей, то обогреться будет негде.

Действуя осторожно, он передвинул костер, чтобы не завалило снегом. Потихоньку высвободил лыжи. Все-таки один край обрушился. Но зато задняя стенка хижины устояла.

От вершины сваленной ночью лиственницы он отрубил жердь, длиною с метр. Почти все, что осталось от сгоревшей за ночь лесины. Ему пришлось вновь

озаботиться дровами. Костер в любом случае должен гореть. Дров он заготовил быстро. Ночью ему приходилось действовать на ощупь. А сейчас все было на виду.

Потом Костя выстрогал пару крепких клиньев и расщепил жердинку пополам. Получилось два полукруглых бруска. Впереди, на носках охотничьих лыж, всегда есть отверстия. Когда промысловик не шел на лыжах, от тянул их за собой на ремешке. Костя соединил невысоко загнутые носки лыж бруском и крепко увязал. Тот же ремешок пригодился. Пришлось повозиться с задним креплением.

Гвоздей, чтобы прибить брусок к лыжам, у него не было. Костя подпорол ножом камус на лыжах, вставил туда брусок и примотал бечевкой. Благо, что веревки в клубке еще хватало.

Выбрал несколько веток лапника, нарубленного ночью, и закрепил их между лыжами. Хвойный настил на твердой основе. Порадовался, что рама волокуши не разъезжается.

Костя устал и промок, пока ладил волокушу. Только сейчас увидел, что Кучума поблизости нет. Неужели вернулся в свою будку возле заимки? Вот тебе и волк!

Он поправил костер и набил котелок снегом. Откуда-то, из-за елок, выскочил Кучум. Пасть его была окровавлена, в пуху и перьях. В пасти Кучум держал куропатку. Подбежал к костру и бросил добычу. Костя обнял собаку:

— Умница, Кучум!

На этот раз он только вспорол птицу, прочистил ее комьями мокрого снега и почти не общипывал. Решил сварить прямо с пером. Костя спешил. Время уже близилось к полудню, а ведь надо было еще сделать упряжь для собаки. По тому, как Кучум безразлично наблюдал за разделкой куропатки и даже не стал хватать пастью окровавленный снег, Костя понял, что утренняя охота собаке удалась. Куропатки после бурана бегали по насту и купались в чистом снегу. Похлебка из куропатки была вкуснее ночного супа с мясом соболя. Он не стал доедать остатки хлеба, а завернул аккуратно липкие комки и спрятал на дне рюкзака. Потом еще раз обшарил все карманы старого вещмешка. Нашел завалившийся сухарь, пару листочков лаврушки. Пожалел, что не нашел раньше, мог бы кинуть в суп. Все наваристей.

Там же, в маленьком кармашке вещмешка, лежали бусы-ожерелье. Те самые, которые он когда-то подарил Сталине. И которые конвоир рванул с ее шеи, рассыпав по полу. Он собрал их в *снизку* и сохранил. Снизка солнечных бус стала для него талисманом.

Уложил в рюкзак топор и веревку, котелок, пачку патронов к мелкашке, которую всегда брал с собою на охоту. Из мелкокалиберной винтовки Костя промышлял белку.

Брезентовую лямку алыка он привязал к волокуше. Сначала Кучум не хотел лезть головой в лямку алыка. Он был охотничьей, а не ездовой собакой. В упряжке не ходил. Иногда, правда, Костя цеплял к ошейнику Кучума легкие санки-полунарты с нехитрой охотничьей поклажей.

В конце концов Кучум понял, чего от него добивается хозяин. Костя подумал, что под горку они покатят быстрее. И вырезал короткую палку с острым концом. Чтобы, при необходимости, тормозить на спуске.

Так оно и случилось.

Талый снег подморозило, волокуша легко скользила по насту. Кучум быстро понял свою новую обязанность. Тянул весело и даже с азартом. Несколько раз оглянулся, дескать, а куда это мы катим, почему не домой, в свою избушку?

Спуск прошли быстро. Несколько раз волокуша, как и предугадал Костя, скользила по снегу сама и пришлось притормаживать. Выструганная палка пригодилась. Кучум повизгивал и прибавлял шагу. Дальше тропа тянулась по распадку. Костя заметил еще одного соболя в кулемке. И этот зверек висел на

бревне, как самоубийца. Раньше Костя не придавал значения обыкновенной картине охотничьей жизни. Подумаешь, соболя прихлопнуло давком! А для чего поставлена хитрая кулемка?! Освобождал придавленного зверька и прятал в рюкзак. А сегодня — поди ж ты! — картинка навязчиво лезла в глаза. Плохая в тайге примета. Петли на дверях скрипели горестно. Соболь повесился в ловушке.

Нельзя давать себе слабость и думать про такие знаки. Вот только кто их подает?

Останавливать Кучума Костя не стал.

Да и не смог бы подняться с волокуши, на которой лежал ничком и думал только о том, как бы не свалиться. Одной рукой держался за ветки лапника, другой придерживал палку-тормоз. Рюкзак и мелкашку мотало по спине.

Распадок прошли за час. Костя видел, что собака выбивается из сил.

Он понял, что на подъеме Кучум не вытянет.

Костер на этот раз разгорелся быстро. Давление поднялось и не давило пламя к земле. Он вскипятил воду и заварил лимонник. Хлеб отдал Кучуму. Собака сразу легла на снег, свернувшись клубком, и в тайгу за добычей не побежала.

Костя гладил лайку, прижимал голову Кучума к груди и шептал:

— Собака ты моя! Умница… Отдыхай! Что бы я без тебя делал?

Кучум уши прижимал и строго смотрел на хозяина. Лайки не улыбаются. Пистолет в брезентовом кармане поддавливал под сердце. Костя лежал, опершись на руку. Теперь он сам не понимал, как он мог думать об убийстве собаки. Единственного его друга во всей тайге. А, может быть, и в целом мире.

Весна 1956 года. Дуссе-Алиньский перевал

Кучум тянул волокушу из последних сил.

Костя почти потерял сознание. Он то погружался в картины своего недавнего прошлого, то, очнувшись, отмечал: прошли распадок, медленно ползут по косогору. К заброшенному поселку.

Громко каркали вороны и трещали над головой сойки. Уже совсем стемнело.

А на небе опять высыпали звезды. Особенно яркие после бурана.

Погода совсем наладилась.

Домик мерзлотной станции стоял на отшибе поселка. В домике, единственном, светилось окно и из печной трубы тянулся дымок. Такие поселки всегда возникали возле зон. В них жили вольнонаемные, их называли вольняшками. Офицеры из штатов лагпунктов, с семьями, тоже селились здесь.

Начкар, начальник караула, делил дом на двоих с Главным инженером стройки. Сошки помельче ютились в бараках-общежитиях. Начальник лагпункта, как правило, жил в отдельном жилище. Домик даже внешне отличался от других. С крепкими ставнями и крыльцом, аккуратной поленницей березовых дров у завалинки. Возле крыльца круглые сутки топтался часовой в полушубке. Правда, у Сталины Говердовской было по-другому. Она, незамужняя и красивая женщина, делила дом с начальником охраны Дуссе-Алиньского тоннеля. Два разных входа для двух хозяев.

Все эти дома по истечении лет, и Говердовской дом тоже, обветшали, стояли с выбитыми окнами и обваленными печными трубами.

И только домик мерзлотной станции выглядел обжитым. Печь в нем топилась, снег у крыльца расчищен, кучкой лежали наколотые дрова. К воротам станции бежала тропинка, протоптанная в снегу.

Костя редко заглядывал в поселок. Не было надобности. Разводил второй костер у портала, быстро кипятил чай и возвращался в свою избушку. Иногда шел верхом, по охотничьей тропе. Но чаще всего по тоннелю. Удивлялся — его шаг совпадал с рассто-

янием между уложенными шпалами. Как будто специально кто-то рассчитал. Истопник не семенил, как семенят многие, шагая по шпалам, а шагал размашисто и уверенно.

Ему нравилось ходить по тоннелю. Зимой в тоннеле было теплее, а летом прохладно.

Костя не слышал, как лаял Кучум у крыльца. Не видел, как из дома вышел тщательно выбритый, что совсем необязательно в тайге, мужик. Он подслеповато щурился. Лицо его украшали круглые очки. Самодельная оправа из тонкой проволочки. В руках бритый держал наперевес двустволку. Следом появилась высокая и статная женщина. Она охнула, перевернув человека на волокуше и заглянув ему в лицо.

Прижала руки к груди, стянула наброшенный на плечи платок у горла.

Сталина Говердовская, конечно, изменилась за прошедшие десять лет. Но красоты не потеряла. Добавилось стати, в пшеничных волосах заблестели сединки. Несколько лет в лагере для *мамок* с новорожденным сыном, потом расконвоировали, поселение… А два года назад попала под амнистию. Тогда выпускали на волю не только уголовников со стажем, но и преступников-малолеток, матерей с детьми, рожденными в лагерях. Сталина была уже замужем. Еще в лагере она встретила Герхарда. Герку, смешного очкарика, тоже расконвоированного, техника-климатолога, когда-то работавшего в Заполярье.

Врагов народа и троцкистов находили везде. Даже на дрейфующих льдинах Ледовитого океана.

Недавно Герхарда и Сталину направили на Дуссе-Алинь. Кауфману поручили расконсервировать брошенную мерзлотную станцию.

Шли упорные разговоры о том, что стройка 500 будет возрождаться.

Кауфман и Сталина, вдвоем, затащили Костю в домик, уложили на дощатые нары. Герхард тут же нашел под мышкой у пришельца пистолет в аккуратном кармашке. Одобрительно сказал: «Парабеллум. Немецкий!»

Он вынул обойму, но не обратил внимания на патрон в стволе.

Внимательно осмотрел оружие, потрогал рычажок предохранителя — немецкая надпись Gesicher не закрывалась флажком.

— Предохранитель сбоит. Кажется, пружинка стерлась.

Кауфман, как многие типичные очкарики, разбирался почти во всем. В оружии тоже. Пистолет и обойму он положил на свой рабочий стол, стоящий впритык у окна. Потом осторожно размотал грязные бинты на шине, осмотрел ногу.

— У него открытый перелом. На ране началось нагноение.

— Это Костя Ярков, — ответила Сталина, — он отец моего Егорки. Я тебе о нем рассказывала. Пистолет у него с войны. Он был снайпером и служил в Смерше.

— Ты не знаешь, зачем он к нам явился? — спросил Кауфман.

И пальцем сдвинул на переносицу свои смешные очки. Потом он достал бутылочку со спиртом и обработал рану.

Костя застонал. Он ничего не мог вспомнить. Какие-то тени метались по избушке, мучительно хотелось пить. Детская люлька висела у печки. Громко плакал ребенок… Или новые видения пришли к Яркову?

Наутро Сталина запланировала поход в горы. Герхард сказал, что от гангрены Костю спасет мох. Его надо заваривать и прикладывать к ране. Сильнейший природный антибиотик. По-научному — цетрария. Мох особенный, он похож на морские водоросли. Называют мох ирландским. Растет по расщелинам скал. А вообще-то он из породы лишайников.

Кауфман показал Сталине картинку в потрепанном справочнике «Растительность Верхне-Буреинского района».

Сталина вспомнила, что в детстве у нее был аквариум. С отцом они запустили туда рыбок. Гуппи сразу же спрятались в мелкочешуйчайтых водорослях,

растущих на дне. Она примерно знала, какой мох надо было собрать, чтобы спасти Костю.

Ночью он стонал и метался на нарах, все время просил пить. Сталина вставала, кутаясь в шаль, подносила к потрескавшимся губам Кости кружку с водой. Герхард отворачивался к стене и громко вздыхал. Костя так и не пришел в себя.

Кучум спал у дверей, спрятав нос в шерсть. Когда хозяин избушки вздыхал особенно громко, он поднимал голову и тихо рычал. Словно предупреждал о чем-то странного человека, до синевы выбритого, в круглых очках, который встретил их на улице. С двустволкой наперевес.

Сам Кауфман остался дома. Ему предстояло напилить досочек для шины. В хозяйстве станции недавно появилась небольшая циркулярка. И даже был свой генератор-американец. Мерзлотную станцию постарались оборудовать всем необходимым в тайге. Вот поэтому вечером в их окне теплился свет.

По тропинке, протаявшей в снегу, Сталина обогнула поселок и пошла мимо поляны, забирая вправо, к просеке. На поляне, из-под корки совсем уже тонкого наста, торчали затеси, похожие на реперные колышки, которые изыскатели ставят на трассах. На некотрых еще сохранились цифры, они, казалось, въелись в дерево. 2384, 3572… Имен и фамилий не было. Здесь хоронили заключенных. Они гибли от морозов и болезней, от постоянного недоедания, от непосильной работы на проходке в штольнях и на лесоповале.

Кого-то убивали при попытке к бегству. Кто-то был раздавлен породой или хлынувшими в тоннель подземными водами. Мест захоронения зэков на Дуссе-Алине было несколько. И на южном склоне сопки, и в распадке. Но у просеки — самое большое. Поляна, кажется, раскинулась до горизонта.

Чем выше в гору поднималась Сталина, тем сильнее дул ветер и тем ярче светило солнце в глаза. Нагретые камни уже обнажились, и Сталина очень быстро нашла нужный мох. Цетрарию. Она ни о чем не думала. Не вспоминала их с Костей ночь любви.

Ни своего ареста.

Ни мук с младенцем-сыном в лагере.

Она просто собирала в холщовую торбочку целебный мох, который должен спасти отца ее сына. Скоро она согрелась от работы, распустила узел клетчатой шали, по-бабьи завязанной на спине, и присела на плоский и теплый валун. С вкраплением розовых камешков. И тут она заметила цветок, похожий на эдельвейс, притаившийся в расщелине. Кругом еще лежали островки снега, да и ветер задувал ледяной, а цветок уже вылез и робко прятался за камень.

— Откуда ты? — прошептала Сталина и тронула пальцами лепестки.

От подножия сопки раздался скрежет и визг. Кауфман включил циркулярку. В горах звук пилы, усиленный эхом, напоминал не то плач, не то крик. Как будто выли тысячи людей, похороненных у подножия сопки. Или скрежетали зубами.

Сталина вспомнила. Точно так же кричали матери в лагерном пункте Хуры (поселок назывался Акур), когда в 1947 году по зоне прошел слух, что новорожденных детей у зэчек отберут. А сам лагпункт расформируют.

Сталина тогда только родила Егорку. Ему было три или четыре месяца.

Сталина легла на камень, прижалась к нему всем телом, закрыла уши ладонями, чтобы не слышать страшного воя пилы.

Ничего уже нельзя поделать… Ничего! Костя вернулся! Никогда она не любила Кауфмана. Он просто спас ее и сына-малыша от смерти. И вот Костя вернулся.

И ничего она не сможет с собой поделать. Новые испытания приготовила ей судьба. Тяжелый и плоский, розовый валун отдавал ей свое тепло.

А из долины, где уже пробивала талый лед бесноватая река Черт, доносились рыдания и стоны зэков.

Затемнение. Флэшбэк. Лагерный пункт Акур. Весна 1947 года

Сталина Говердовская грудью кормит ребенка. Мальчик почти лысенький, с жидкими вьющимися волосами. Сталина по-прежнему белокурая. Только мы уже замечаем серебристые пряди в ее голове. А мальчик черненький. В отца, наверное. Ребенку месяца три. А может, четыре. Сталина в офицерской гимнастерке, той самой, в которой и была арестована. Края рукавов и воротничка уже замахрились. Потрепанная юбчонка, кирзовые стоптанные сапоги. Офицерские у нее давно отобрали уголовницы-*марухи*.

Поверх гимнастерки, на плечи, наброшена вязаная кофта, какая-то на вид несуразная. История появления у зэчек этих, самовязаных, кофт такова. Рядом расположен лагерь японских военнопленных. У японцев сохранилось хорошее нательное белье. Шерстяные рубахи и кальсоны. Зэчки бегают к ним на свидания. Японцы расплачиваются за любовные утехи своими ценными кальсонами. Женщины кальсоны распускают на нитки.

Вяжут себе кофты, а своим детям комбинезончики.

Барак, в котором сейчас происходят события, особенный. В нем содержатся маленькие дети. Они еще не зэки, конечно. Потому что очень маленькие. Но обязательно ими станут. Другой судьбы у них нет. Кто-то родился в тюрьме. Или на этапе. Кого-то вместе с матерью, изменницей родины или воровкой, отправили в неволю. Кто-то понес уже в лагере, от охранника…

В проходах между нарами детские ясельки. Странное гуканье стоит в бараке. Оно доносится из кроваток. Дети в лагерных приемниках долго не могут научиться говорить. До четырех лет они гукают и тревожно воркуют, как голуби. По проходам снуют неопрятные тетки — няньки, набранные из числа лагерных старух. Няньки не любят детей. Разве что пеленку поменяют. Целый день груднички лежат на спине. Матерей допускают в барак на кормление детей грудью два раза в день. В разных лагерях время на кормление отводилось по-разному. От пятнадцати до сорока минут. Не успела докормить — надзирательницы отбирали у матерей малюток.

Так что Акур — типичный *мамочный* лагерь. Таких яслей, детприемников и детских домов в стране оборудованы тысячи.

Органы НКВД столкнулись с жизненной проблемой: среди врагов народа оказались беременные женщины и матери с маленькими детьми на руках. Куда их девать и как содержать?!

Двадцать третьего октября 1940 года Приказом № 194, за подписью заместителя Народного Комиссара Внутренних дел СССР Чернышева, объявлена «Инструкция по санитарной службе тюрем НКВД СОЮЗА ССР». Ее четвертый раздел назывался «Содержание детей заключенных».

Это обширный и чудовищный по лицемерию и фальши документ.

Приведем лишь отдельные строки инструкции.

Из Общего положения:

При поступлении в тюрьму заключенных матерей, имеющих грудных детей, дети принимаются и содержатся в тюрьме в возрасте до полутора лет, т.е. до того возраста, когда ребенок перестает нуждаться в материнском молоке… ***(После полутора лет ни в чем материнском, помимо молока, ребенок уже не нуждается?!)***

Содержание детей в тюрьме должно быть организовано так, чтобы они могли ***нормально*** *расти и развиваться. Все помещения для детей должны быть сухими, теплыми, с хорошим доступом солнца и воздуха…* ***(особенно — солнца!)***

Игрушки допускается иметь резиновые, целлулоидные, костяные, не портящиеся при мытье и кипячении.

Для детей, имеющих кожные заболевания: пиодермии, фурункулы и др., выделяется особая ванночка. Перед купанием детей все ванночки тщательно моются и дезинфицируются…

Он (ребенок) должен иметь отдельную детскую кроватку, обеспеченную постельными принадлежностями…

Подглавка 2. «Содержание детей в тюремных яслях»:

Детские ясли для грудных детей заключенных матерей организуются при одной наиболее крупной тюрьме НКВД-УНКВД области (республики)…

Ясли должны иметь спальные комнаты с площадью пола не менее 3 кв. метров на каждую детскую кроватку ***(если помните, то на одного зэка полагались нары, площадью 2 кв. метра. Меньше, чем для грудничка!)***

Кормление производится в течение 20 — 30 минут по расписанию, составленному врачом яслей. В эти часы надзирательницы выводят заключенных матерей из камер в детясли. Поэтому комната для кормления должна больше отвечать требованиям тюремных помещений, иметь на окнах решетки, матовые стекла в рамах, двери с «глазками» и на запоре и т. д.

Туалетная комната служит для высаживания детей на горшки…

Для прогулок детей используются веранды, садики и прогулочные площадки…

Дети, в возрасте до года, размещаются вместе со своими матерями в просторных, светлых, хорошо проветриваемых камерах…

Господи, на все воля Твоя! Даже про комнату с горшками не забыли. Интересно, а там-то были предусмотрены решетки и «глазки»?! Кто-то же сочинял эту иезуитскую инструкцию про светлые и просторные камеры, про садики, где так хорошо гулять с младенцем на руках, и про то, что в тюрьмах дети должны нормально расти и развиваться.

Существовали и многочисленные (секретные) инструкции о методах допроса несовершеннолетних. Только две цитаты:

В качестве свидетелей могут допрашиваться не только несовершеннолетние, но и малолетние, т.е. дети в возрасте до 12 лет. УПК не устанавливает минимального возраста малолетнего, ранее которого он не может быть допрошен в качестве свидетеля ***(то есть он еще не говорит, а только гукает, но его уже можно допрашивать?!)***

Никакие тактические правила допроса несовершеннолетних и малолетних не могут подменить творческой инициативы следователя, вдумчивого и чуткого отношения к допрашиваемому, установления с последним психологического контакта…

Две последние выписки — из «Настольной книги следователя». Методические указания прокуратуры СССР о ведении допроса несовершеннолетних свидетелей. Здесь надо вспомнить, как следователь ломал тяжелой подставкой пальцы мальчишке-подростку на глазах у матери. Такой была его *творческая инициатива*.

Тяжелые воспоминания о содержании детей в неволе приводит Энни Эплбаум в книге «ГУЛАГ. Паутина большого террора». Вот цифры:

— в 1943–1945 годах через детприемники прошло восемьсот сорок четыре тысячи сто сорок два бездомных ребенка. Пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать стали потом малолетними преступниками и оказались в исправительно-трудовых колониях.

Детей рожали в тюрьмах, на этапах, да и в зонах тоже. Женщины беременели в основном от охранников. Некоторые *залетали* специально, чтобы попасть под амнистию. В 1949 году Сталину была направлена докладная записка: в лагерях

находится полмиллиона женщин. Из них беременны девять тысяч триста. Двадцать три тысячи семьсот девяносто имеют при себе маленьких детей до семи лет.

Опять цифры…

Никуда нам не деться от них. Они, как клопы, которые сыпятся и сыпятся на тельца младенцев с верхних балок бараков. Целыми ночами мамки, по очереди, дежурят у кроваток, обирая напившихся кровью паразитов.

А еще ведь и вши.

Содержание детей было ужасающим в лагерях во все времена. Начальник Гулага Матвей Берман (1933 год) пишет — и тоже Сталину, — только, в отличие от Энни Эплбаум, совершенно секретно*: «Питание детей неудовлетворительное, отсутствуют жиры и сахар, нормы хлеба недостаточны. В отдельных детдомах* ***(их также называли деточагами)*** *наблюдаются массовые заболевания детей туберкулезом и малярией. Так, в Полуденовском детдоме Колпашевского района из 108 детей здоров 1. В Широковском — Каргосокского района — из 134 детей больны: туберкулезом — 69 и малярией — 46».*

Матвей пожалел Сталина. Он привел не самые страшные примеры детского геноцида в лагерях. Ребятишки искали объедки на помойках, собирали крапиву и лебеду. Есть воспоминания о том, как обезумевшие от голода детки *ели кал и землю*. В записках бывших воспитанников таких учреждений обнаружились воспоминания Натальи Савельевой о детдомовском лагерном меню: *«В основном суп из сухой рыбки корюшки и картошки, липкий черный хлеб, иногда суп из капусты».*

Удивила корюшка.

Массово корюшка водится в нескольких местах. На Неве, в Балтийском море, на Камчатке и на Сахалине. И, совершенно точно, на Нижнем Амуре. Помогли архивы. Оказалось, что Савельева была воспитанницей деточага в поселке Маго.

Порт Маго на Амуре!

В шестидесятых годах прошлого века автор воспитывался в школе-интернате № 5 поселка Маго. Факт не специально придуманный и подогнанный под сюжет. Так совпало. Из-за корюшки. Мы спали тогда уже на чистых простынях, ели вкуснейшую рыбу кету с картошкой — главную еду в здешних местах, рис с мясом, пироги. У нас бывали яблоки и мандарины, конфеты «Ласточка». Никто из нас не болел туберкулезом. Повариха тетя Зоя, женщина с лицом, исполосованным морщинами, как шрамами, однажды рассказала: «Здесь когда-то был страшный детдом. Содержали под охраной маленьких преступников, детей врагов народа. Я работала истопницей, а потом — нянечкой… Что творилось!»

Тетя Зоя доверяла мне. Я помогал ей носить дрова на кухню.

Став постарше, любил колоть тяжелым колуном витые еловые чурки.

А со сталинских времен тогда ведь прошло всего ничего: каких-то от силы десять лет.

Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе.

Большая история только кажется Большой. А встретишься с ней глаза в глаза, копнешь чуть глубже, и она окажется твоей личной историей….

Моего деда, сахалинского каторжанина и партизана из отряда анархиста Тряпицына, потом организатора первой на Амуре рыболовецкой артели, репрессировали и сослали все на тот же Сахалин. Уже как троцкиста и японского наймита. Я, внук врага народа, то есть чесир в чистом виде, член семьи изменника родины, мог бы лазить по помойкам, собирать лебеду, а скорее — дикий лук, растущий на скалах. Так не случилось только потому, что я родился на десять лет позже описываемых в романе событий. Мне было два года, когда умер Сталин.

Примерно в то же время дед вернулся с Сахалина второй раз. Свою песню про Черного ворона он пел до самой смерти.

Я вспомнил о ней в предисловии к роману.

Сталина блаженно закрывает глаза.

Маленький Егорка деснами прихватывает сосок. Какой сильный родился сыночек! Кажется, весь в отца…

Блатнячка Нинка, она кормит сына по соседству, злым шепотом рассказывает Сталине о том, что сегодня ночью всех детей отберут и увезут неизвестно куда. Может, в Ванино. А может, сразу на Ургал. Кто же знает?

Нинка говорит, сузив и без того свои рысьи глазки.

— Если придут за сыночком, я размозжу ему голову… Схвачу за ноги и тресну об угол!

Нинка год назад проведала, что всем женщинам с детьми, как и беременным, обещана амнистия. Потому и залетела. Хахаль у нее давно уже был, из конвойных. Веселый сержант Петро. Когда Нинка сказала ему, что забеременела, Петька испугался и насупился. За связь с зэками могли выгнать из вохры.

Петро угрюмо сказал:

— Мы же договаривались, Нинуль…

Воровка ответила:

— Не шухарись, фраер… Я тебя не знала и знать не знаю!

Нинка с понтами. Работала наводчицей на поездах дальнего следования Москва — Владивосток. Выдавала себя за респектабельную пассажирку — жену пограничного командира, высматривала хорошие вещи, украшения и дорогие чемоданы. Ночью открывала защелку на дверях купе для подельников. Взяли с поличным в Хабаре.

На зоне тоже не пропала.

Зэчек в Акуре кормили акульим мясом. Татарский пролив рядом. То ли от неправильного питания, то ли от подступающей цинги у женщин стали опухать ноги, появились незаживающие язвы. Врачи их называли трофическими. Тут как раз бригаду отправили на сенокос, выделили несколько лошадей. Нинка подговорила товарок одну лошадку прирезать. Стали варить и жарить мясо. Язвы на ногах пропали. Бригадирше сказали, что лошадь утонула на переправе в Хуте — здешняя речка так называлась. Нинка же надоумила вырыть в тундре яму.

Мясо долго хранили во мху, на вечной мерзлоте.

Нинка стройная, но вертлявая. Порядком уже захватанная. Как черенок зэковской лопаты. Кто успел первым схватить, тот и копает.

Сначала Говердовская доверилась воровке, делилась с ней женскими тайнами. Нинка спросила:

— Мужика, небось, хочется?!

Сталина отшутилась:

— Егорка есть. Мне его хватает.

Нинка хохотнула, закинув голову:

— Так я тебе и поверила! А пальчика не пробовала?!

— Какого пальчика?

— А такого… Попробуешь пальчика — не захочешь мальчика! Хочешь, я тебя?! А потом ты меня… Да не криви рожу, я подмоюсь!

Сталина после разговора месяц обходила Нинку стороной.

А потом кормежка детей вновь свела их вместе.

И не к такому привыкаешь.

Говердовская пытается успокоить Нинку:

— Не будут они этого делать. Посуди сама. На Акуре, в нашем лагпункте, больше ста кормящих мамок.

Разговор услышала Валентина Касатонова — *жира*, жена изменника Родины, из Читы. У нее пацан уже большенький, лет, наверное, шести. Почти не говорит мальчишка. Мычит, какие-то нечленораздельные звуки произносит и машет руками. Но зато рисует удивительно. Овчарки, вышки с колючей проволокой, бараки… А еще снег, косо летящий в свете фонарей. Что видит, то и рисует. Как-то Валентина сумела мальчишку сохранить. Говорит: «Воспитала Юрика под нарами…» На Акур Касатоновы попали недавно — перевели с Дуссе-Алиньского лагпункта. Там ложкомойки и швеи тоже прятали Юрку.

Иногда администрация на таких переростков закрывала глаза. Известно много случаев, когда малолеток не разлучали с мамками. На фронте пацаны-подростки становились сыновьями полка. Юрик Касатонов был сыном барака.

Валентина встревожена особо:

— Кого они послушают? Как им прикажут, так и сделают. Надо идти к гражданину майору Окулову, начальнику лагпункта! Всем вместе идти.

После кормления толпа мамок окружает барак, где располагается управление лагпункта. Действовать — значит, побеждать. Сталина Говердовская знает такой закон жизни в лагере. Поэтому она в толпе зэчек. Хотя по беременности, еще полгода назад, Говердовскую счастливо расконвоировали. Помогли бывшие офицеры-сослуживцы. Не все же становятся зверьми. Людьми тоже кое-кто остается.

На крыльцо выходит начальник лагпункта майор Окулов с несколькими подчиненными. Из-за спин выглядывает Кауфман. Глазами выискивает в толпе Сталину. Они познакомились совсем недавно. Говердовская ему понравилась. А кому может не понравиться Сталина? Кауфман, троцкист и враг народа из Заполярья, плавал на льдине по Ледовитому океану. Измерял толщину и температуру льдов. Смешно. Кому нужно знать толщину льдов в Ледовитом океане? Белым медведям, чтобы не провалиться?!

Попутно Кауфман создавал там подпольную шайку троцкистов.

Из пингвинов он ее создавал, что ли?!

Кауфмана тоже быстро расконвоировали, но срок не скостили. Отправили на стройку 500 исследовать вечную мерзлоту. Очень были нужны специалисты.

Мосты, тоннели, саму трассу часто прокладывали на глазок, по рабочим чертежам. Ведь проект БАМа был принят госкомиссией только в 1945 году. Та самая книга, которая есть у Сталина и у Кости Яркова.

Очень скоро Кауфмана на стройке оценили и зауважали. Герхард был усидчив, скрупулезен до занудства и часто утомлял своей придирчивостью. Он буквально выносил мозги начальникам партий, маркшейдерам и прорабам. Кауфман находил неточности и грамматические ошибки во всей проектно-сметной документации. Он точно указывал места, где надо рыть колодцы, ставить откосы, строить подпорные стенки, виадуки и прокладывать трубы. К Герхарду приезжал советоваться сам Гвоздевский, начальник стройки 500 после Френкеля, генерал-майор инженерно-технической службы Бампроекта НКВД.

Кауфман улучил момент и указал генералу на неточности в готовом проекте. Федя, бывший кузнец в железнодорожных мастерских, лишь хохотнул, побренчав многочисленными медальками на полноватой груди.

Орден Красного Знамени, врученный во время Гражданской войны самим Фрунзе, Гвоздевский крепил на грудь только в особые дни.

А вообще у него было три или даже четыре ордена Ленина.

В книге Гвоздевского и компании, которая не раз уже цитировалась в кинороман, есть строчки, которые нельзя было написать без помощи Герхарда Карловича Кауфмана. Вот они: *«Сплошная вечная мерзлота охватывает участок между хребтами Северо-Муйским и Дуссэ-Алинь* ***(в то время название Дуссе писалось через «э». Как и Черт — чрез «о». Мы уже упоминали об этом)…*** *Мощность*

вечной мерзлоты в районе мало изучена. Имеющиеся данные по Буреинскому угольному бассейну у р. Ургал и по хребту Дуссэ-Алинь показывают ее мощность в этих участках порядка 34–45 метров. В центральном горном участке линии, по-видимому, мощность ее будет порядка 50–60 метров, а может быть и более».

Не должна огорчать оговорка «может быть». Она означает, что пытливый Кауфман еще не успел побывать там, на центральном горном участке обозначенной инженерами Гвоздевского линии. Но, кажется, еще побывает. Вон как он посверкивает круглыми очочками, обнаружив в толпе Сталину.

Он даже ей делает какие-то знаки рукой.

Из толпы мамок кричат:

— Куда вы хотите увезти деток?!

— Мы сегодня будем ночевать в деточагах!

— Псы! Кого вы хотите…?!

Вот здесь звучит то самое слово. Эквивалент слову обмануть. Автор обещал в начале романа, что не позволит своим героям материться. Потому что судьба их и страдания выше грязного мусора лагерной жизни.

Но в данном случае звучит голос не конкретного человека.

Звучит выкрик, стон толпы. Он выше цензуры автора:

— Псы! Кого вы хотите *на…бать*?!

И совсем жалобно:

— Дайте чистых пеленок!

— Запретите нянькам-сукам пихать в рот детей горячую кашу!

Начальник лагерного пункта поднимает руку. Он боится бунта мамок. Кстати говоря, в его околотке, и даже на самой Ванинской пересылке, они случаются довольно часто. Бунты и побеги.

— Никто не собирается отбирать у вас детей! Я не позволю нарушать режим вверенного мне исправительно-трудового учреждения! — выкрикивает майор.

Вой и плач в толпе усиливаются. Женщины подступают к самому крыльцу.

Зэчек окружает конвой с автоматами и собаками. Звучит команда начкара:

— На колени!

Начальник караула дает предупредительную очередь над головами.

Почему они всегда, в случае чего, ставили зэков на колени?

Потому что в позе раба ты ничего не можешь сделать. Единственное — ползти к ногам повелителя. Не успеешь выломать дубину, схватить черенок лопаты или лом. Не бросишься крушить вышки охраны и рвать колючую проволоку.

Зэчек разводят по баракам. Сталина улучает момент и подходит к Герхарду. Она ведь бесконвойная, перемещается по лагерю свободно.

Кауфман — он и сейчас тщательно выбрит — озирается по сторонам:

— Сегодня ночью они вывезут детей. Не знаю куда… Распоряжение пришло из Комсомольска.

Сталина держит в зубах веточку багульника. Багульник горчит на губах. Она долго смотрит куда-то мимо Герхарда. Опять весна. И Егорке, который так озорно прикусывает грудь матери, всего три месяца.

Опять пахнет свежей зеленью и йодом. Так пахнут водоросли. Откуда-то, со стороны побережья и Татарского пролива, ветер приносит крики чаек. Отец — моряк и капитан. Она так любила море и вышивала парусники. И Костя Ярков уже никогда к ней не вернется. А одну вышивку она все-таки успела подарить ему.

На обед — акулье мясо.

Сталина смотрит в глаза Кауфману. Он подслеповато щурится.

— Ну, хорошо… — говорит она, — я пойду за тебя замуж. Только давай договариваться сразу. Общих детей у нас не будет. У тебя есть Матильда, у меня Егор.

Герхард берет Сталину за руку, и они идут в кабинет начальника лагпункта.

Ночью в бараке почти никто не спит. Нинка-воровка первой слышит тихий рокот моторов. Крытые грузовики подбираются к деточагу на малых оборотах, с выключенными фарами.

Нинка фурией врывается в барак к спящим детям. Вспыхивает свет. В сорок седьмом году в Акуре уже была подстанция. Нинка мечется по бараку. Никто не может ничего с ней поделать. Она хватает своего сынка за ножки и со всего размаха бьет головой о бревенчатую стенку барака.

Детки проснулись в бараке, заплакали и загукали. Опять утробный клекот голубей. Которые еще не летают. На Нину кидаются охранники, пытаясь заломить ей руки. Она выскальзывает из рук солдат и бросается к другим кроваткам. Нинка обладает теперь нечеловеческой силой. Потому что она сошла с ума. На губах ее пузырится пена.

На нее бросаются другие зэчки, валят на пол. Солдаты бьют ее прикладами, пинают сапогами. Нинка, уже окровавленная, визжит:

— Размозжите им головы! Удавите их всех!

Мы видим, как начальник лагпункта говорит с кем-то по телефону, яростно машет рукой. На полу барака валяется белый сверток, весь залитый кровью.

Рано утром вереница матерей с младенцами на руках, по очереди, идут и лезут, по трапикам в три ступеньки, в крытые грузовики. Те самые, которые ночью пришли на Акур. Камера крупно показывает лица женщин. Многие из них в шалях, повязанных узлами на спине. Очерчены строгие лица, губы сжаты. Уже не разобрать, кто из них уголовница, а кто политическая.

И мы понимаем, что перед нами портреты не мамок, а матерей. Русских матерей с детьми на руках.

Маленькие свертки с детьми напоминают полешки дров. То ли березовых — у некоторых белые конверты, то ли еловых — у большинства дети замотаны в серо-коричневые лохмотья. Такая чешуйчатая кора.

Есть дети в серых комбинезончиках. В тех самых, связанных из шерстяных кальсон японских военнопленных.

Отдельно от всей вереницы, у барака управления, стоит Сталина Говердовская с маленьким Егоркой на руках. Она не уезжает. Начальник лагпункта разрешил остаться Говердовской. В отдельный воронок, в смирительной рубашке, грузят Нинку-воровку.

Она катается по земле, мычит, дико хохочет и пускает розовую пену.

…Майор Окулов возвращается в свой кабинет. Пожилой и грузный человек, он садится за письменный стол и тяжело роняет голову в ладони. Краем глаза замечает, что стол завален какими-то уродливыми игрушками — куклы из тряпок с глазами-пуговками, березовые кубики, выкрашенные лагерной, темно-зеленой, краской. А еще рисунки, бессмысленные кружочки и черточки. Попалось солнце — с глазами, волосатое, идет на тоненьких, паучьих ножках. Дети рисовали.

Окулов поднимает голову и вопросительно смотрит на своего заместителя — лейтенанта.

Лейтенант поясняет:

— В мамочном бараке подобрали…

Окулов перебирает рисунки и вдруг среди вороха листочков находит узнаваемые картинки: столовая, фонарь, летящий снег, колючая проволока и вышка… Человек в тулупе и валенках держит на поводке собаку. За спиной у него автомат.

— А это кто нарисовал? Ребенок так не может.

— Иван Алексеевич, мы вам не докладывали. У зэка Касатоновой, осуждена как жена изменника родины, сын уже взрослый, лет, наверное, семь… Юрик Касатонов. Всем бараком его прятали.

Окулов рассматривает следующий рисунок. Изможденная женщина держит на руках кричащего младенца. Кричащего, потому что рот у ребенка круглый. Видно, орет так, что глаза из орбит вылазят. Рядом горит костер. На заднем плане какая-то черная дыра.

— Где это? — спрашивает начальник лагпункта.

Лейтенант пожимает плечами:

— Их на Акур с Дуссе-Алиня перевели… Похоже, он нарисовал тоннель.

— А что за скобка у нее над головой?

— Мы тоже сначала понять не могли, товарищ майор. А потом няньки нам разъяснили. Она ему по вечерам сказки рассказывала. Про королей и царевен. Это у нее что-то наподобие короны. А может, нимб…

— А костер зачем горит? Она что — собирается ребенка в огонь бросить?!

В ярости Окулов вскакивает со стула, сгребает игрушки и листочки со стола и бросает в печурку.

— Вранье! Все вранье! Не может в семь лет ребенок рисовать святых! Гадины и враги народа! Нарочно так подстроили… И дети их — змееныши, сучье племя!

Окулов выскакивает в коридор. Лейтенант берет рисунок женщины с ребенком у тоннеля, аккуратно сворачивает в четыре раза и прячет в карман гимнастерки.

Майор возвращается с бутылкой водки и двумя захватанными стаканами.

— Давай выпьем, что ли… Голова сегодня с утра прям раскалывается. Давление, похоже, опять падает.

Камера показывает нам, как в огне печурки корчатся листочки с детскими каляками-маляками, горит кукла, у которой на голове вместо волос — солома, стреляет искрами игрушечный короб с ручками и круглым колесиком, похожий на зэковскую тачку…

— Иван Алексеевич, вы не знаете — куда их?

Мы сразу понимаем, о ком спрашивает лейтенант.

Окулов опять роняет голову в ладони. Не помогает водка. Давление скачет, потому что с берега недалекого здесь моря идет теплый фронт.

— А ты думаешь, что я знаю? — отвечает Окулов.

И наливает по полстакана водки.

Матерям разрешили уехать вместе с детьми. Сто семьдесят семь кормящих женщин было вывезено в то утро из Акура. Их дальнейшая судьба неизвестна. Она не прослежена историками Гулага.

Зачем решили у мамок отнять детей? Кому пришла в голову такая идея?

По устойчивой легенде, возникшей позже, все матери, вместе с детьми, были отравлены молоком, которым их напоили в одном из перевалочных пунктов. Не нашлось подтверждения страшной версии.

Но и дальнейших следов акурской истории тоже не нашлось.

Зато удалось проследить, откуда она возникла. Вспоминает Андрей Зинковщук, узник Соловецких лагерей:

«В 1929 году на Соловецком острове работал я на сельхозлагпункте. И вот однажды гнали мимо нас мамок. Так на Соловках называли женщин, которые рожали там ребенка ***(их так называли во всем Гулаге).*** *В пути одна из мамок занемогла, а так как время было к вечеру, конвой решил заночевать на нашем лагпункте. Поместили этих мамок в бане. Постели никакой не дали. На этих женщин и детей страшно было смотреть: худые, в изодранной грязной одежде, по всему видать голодные. Я говорю уголовнику Грише, который работал там скотником:*

— Слушай, Гриша, ты же работаешь рядом с доярками. Поди, разживись у них молоком, а я пойду к ребятам, попрошу, что у кого есть из продуктов.

Пока я обходил барак, Григорий принес молока. Женщины поили им своих малышей. Сердечно благодарили они нас за молоко и хлеб. Конвоиру мы отдали две

пачки махорки за то, что позволил нам сделать доброе дело. Потом мы узнали, что эти женщины и их дети, которых увезли на остров Анзер, все там погибли. Каким ж извергом нужно быть, чтобы творить этот произвол».

Воспоминания Зинковщука были опубликованы в Челябинске, в 1993 году в одной из газет.

Соловецкий остров Анзер.

Дальневосточный лагерь мамок Акур.

Вот и опять почти срифмовалось.

Бывшая заключенная, Оксана Громадская — жена Владимира Енукидзе, племянника верного соратника Ленина Авеля Енукидзе, вспоминает такую историю. Ее приводит в своих записках «Ванинская пересылка» Альвина Шашкина: *«Старенький пароход вез заключенных по северным морям. В одном из портов перегрузились в речное суденышко и пошли вверх по Печоре, но в селении Абезь Оксану сняли — пришло время рожать. Здесь в ветхой, продуваемой всеми ветрами ненецкой лачужке в ноябре родилась дочь Дина. Не выжить бы ей в том страшном холоде, если бы лагерное начальство не позволило Володе быть рядом.* ***(Этапированные, с детьми, жены изменников Родины и чесирки, арестантки всех возрастов в Архангельске встретились с мужьями.)*** *Через несколько месяцев начались спешные сборы — предстоял новый этап. Несколько дней пути по реке, затхлый воздух трюма, неясность предстоящего действовали угнетающе. Оксана ждала второго ребенка, и дорожные тяготы были для нее особенно мучительны. С восторгом узнали женщины, что на очередной стоянке можно будет прогуляться с детьми по берегу. И как только пароход причалил, все без промедления высыпали на берег. Матери и дети радовались солнцу, свежему воздуху. Но не успели они толком походить по земле, как поняли, какую злую шутку сыграли с ними конвоиры: пароход ушел, оставив их всех без мужской поддержки. «Больше мы никогда не встретились со своими мужьями», — вспоминала Громадская».*

Оксану Громадскую арестовали за то, что во время обыска на их с Володей Енукидзе квартире обнаружили брошюрку об истории конспиративной Бакинской типографии «Нина», написанную Авелем Енукидзе.

Каким нужно обладать воображением, чтобы сначала разрешить встретиться с мужьями, а потом оставить женщин с детьми, одних, на берегу.

Дети своих отцов уже никогда не увидели.

Весна 1956 года. Мерзлотная станция на перевале Дуссе-Алинь

Костя очнулся.

Сломанная нога, обложенная запаренным мхом и укрепленная шинами-дощечками, не болела. Из тела ушел жар, предметы не двоились, а ясно проступали перед глазами. Он увидел Сталину, которая сидела у окна и грудью кормила ребенка. Сначала он подумал, что мечется в бреду. И все, что он видит, — по-прежнему его больные фантазии. Кружка с водой, стоящая на низкой скамеечке рядом с нарами, микроскоп на столе и желтый радиоприемник «Амур». Сам стол, заваленный капканами и какими-то термометрами, женщина, сидящая к нему вполоборота. Пучки трав, развешенные по стенам избушки. Но на краю стола лежит его парабеллум. Обоймы в нем нет. Он вспомнил, как сам заряжал пистолет перед выходом в тайгу. Значит, кто-то обойму вынул.

Потом он услышал, как завозился под нарами Кучум. Собака сразу учуяла, что хозяин пришел в себя. Костя также отчетливо вспомнил, как его ночью заносили в дом. В комнате было очень душно. И там плакал ребенок. Он лежал в люльке, подвешенной к балке потолка.

Не поворачивая головы, Сталина буднично спросила:

— Ну, что, Костантин Ярков, лейтенант Смерша, очнулся?

Костя хрипло ответил:

— Да.

— Ты сильно ослаб. Сейчас я напою тебя бульоном. Вот только докормлю Настю. Настя наша с Герой дочка. Сначала мы не хотели детей. А потом оно как-то получилось. Само. Ты почему не искал меня, Костя? Костя хрипло ответил:

— Я искал.

Врал, конечно.

Знал ведь, что Сталину отправили на Акур, в лагерь мамок. Оправдывал себя тем, что Сталина вышла там замуж.

И про Кауфмана тоже наводил кое-какие справки.

— Ты знаешь, такая жизнь была…

— Да, десять лет прошло, — согласилась Сталина, — девять я прожила с Герхардом.

— Так он у тебя Гера или Герхард?

— И так, и так можно. Одно слово — Кауфман. Он хороший. Правда, зануда.

Она печально рассмеялась.

А какая была жизнь?

Ярков стрелял по беглым зэкам. И они падали ничком на снег. Пил стаканами спирт и получал почетные грамоты. Учился в институте и дрался с уголовниками на вокзалах. Зажигал костры в Дуссе-Алинском тоннеле. Иногда молился.

Его Апостол учил молиться.

Вот только непонятно: научил ли?!

А Сталина спала на снегу и ела акулье мясо. Отбивалась от *коблих* — женщин в образе мужиков — и *ковырялок* — приторно-угодливых лесбиянок. Короткая стрижка, брюки, заправленные в сапоги, папироса в уголке рта. Портрет типичной коблихи. А вся на изломе, нервная и гибкая — ковырялка.

Их так называли.

Еще Сталина продавала за кусок хлеба свои вышивки. Шила рукавички-верхонки в мастерской. Так и выжила.

Оказалось, что все десять лет они продолжали любить друг друга.

Так бывает.

Кажется, что ты уже забыл свою единственную ночь любви, но вдруг ты видишь, как в утреннем морозном тумане колонны зэков идут к костру, который ты только что развел у жерла тоннеля. Они тоже хотят погреться. И твоя любимая тоже приходит вместе с ними. И встает за твоей спиной. Ее лицо можно даже потрогать, поправить волосы, сбившиеся из-под платка и припорошенные инеем. Можно даже согреть своим дыханием ее ладони.

Так бывает.

Ты уже смирилась с женской долей, выпавшей тебе на веку. Родила нелюбимому, но спасшему тебя человеку, ребенка. И снова взялась вышивать нитками мулине бесконечное море.

Как вдруг, однажды вечером, почти уже ночью, у крыльца твоего домика, затерянного в тайге, залает собака. И в беспамятном человеке на волокуше ты узнаешь его. Единственного. Которого ты вспоминала каждую ночь десять лет подряд. Ты пойдешь мимо старого кладбища, чтобы собрать в горах снадобье, и услышишь стоны людей. Невидимые миру слезы.

— А где наш сын? — спросил Костя.

— Егорка? Он в Чегдомыне. В интернате для детей таежников. Там ребятишки охотников и оленеводов.

— Ты назвала его Егоркой…

— Ты же сам мне рассказывал. Как у чалдонов? Сына называют в честь отца. Дочь — именем матери. У тебя ведь отец был Егором? Я их, кстати, искала, твоих родителей, на Ургале. Мне сказали, что они умерли. А про тебя толком никто не знал. Говорили, мол, учится где-то в институте. В Комсомольске. А нам в города с Герой ездить не разрешается. Мы до сих пор поднадзорные и должны жить *на химии*... Как на поселухе. Ну, ты знаешь. Они сказали, что Дуссе-Алинь скоро снова будет спецпоселением. Герку послали восстанавливать мерзлотную станцию. Я по хозяйству. А ты как здесь оказался? Ты охотник, Костя?

— Нет, — ответил Костя, — я истопник тоннеля. И я тебя ищу.

Сталина ловко, не стесняясь Кости, спрятала грудь в кофточку и поправила пряди волос, нависшие над лицом.

— Да ладно, Костя… Ищет он! Все быльем поросло.

Она подошла к нарам и наклонилась над Костей.

Он потянулся ладонью к лицу Сталины.

Хлопнула дверь в сенцах.

Вошел Кауфман.

— Очнулся, охотничек?! Как это тебя угораздило?

Следующая сцена будет такой.

Прошло время, и нога у Кости стала подживать. Но он делал вид, что ему по-прежнему трудно вставать и передвигаться по избушке.

Ему нравится, что Сталина помогает ему умываться, кормит чуть ли не с ложечки. Он выжидает, когда она наклонится над топчаном, где лежит Костя, и в вороте платья будут видны ее по-прежнему тугие груди.

Костя побрился опасной бритвой. В хозяйстве нашлось несколько бритв и кисточек для взбития пены. Кауфман брился с завидным усердием каждое утро. Зачем бриться мужику в тайге?! Герхард, видимо, дисциплинировал себя.

Щеки Кости налились румянцем, а черный чуб пошел прежней, чалдоновской, волной. Да и у Сталины глаза заблестели. Она уже сидит на краю постели, позволяет Косте гладить свою руку. Пока только до плеча.

Сидят, как голубки, воркуют… Много вспоминают.

Кауфман дома не бывает. Каждое утро он уходит в маршрут за пробами грунта и за своими мхами. Маршруты становились все длиннее.

А Кауфман все неразговорчивее.

Как-то, наклонившись, она не выдержала и припала на грудь Кости. Охнуть не успела. А Костя не растерялся. Да Сталина сильно и не сопротивлялась. Завозилась и заплакала Настя в кроватке.

Сталина подхватилась, распеленала девочку, положила рядом с собой.

Настя сразу развеселилась, загукала, ползает по топчану, хватает мамку и чужого дядьку за голые пятки. Костя заметил, как Сталина, потихоньку, голой ступней, отталкивает девочку. Костя засмеялся. Ловко, а нога-то по-прежнему в шине, соскочил с нар и посадил Настю на коврик. Лохматую медвежью шкуру, лежащую у кровати.

Отметил про себя: «Герыч-то не промах… На медведя ходит!»

Сталина, простоволосая и полуголая, опершись на руку, с удовольствием смотрит, как Костя возится с Настей. Из-под топчана выполз Кучум, наблюдает за Настей и хозяином. Собака не рычит, а лишь слегка скалится, обнажая сахарные клыки. Костя подзывает лайку и строго говорит:

— Будешь охранять… Это наша дочка.

Кучум прижимает уши.

Сталина неслышно плачет. Мы видим, как слезы текут по ее щекам. Настя хватает Кучума за уши, треплет, пытается залезть на собаку и, довольная, хохочет. Кучум виновато глядит в глаза хозяина, повизгивает, но не уворачивается. Кучум — помесь волка с лайкой.

Одним хапком рвет горло кабарги.

Из желтого радиоприемника «Амур», обмотанного черной изолентой, сквозь треск и завывания прорезается голос московского диктора: *«Закончился двадцатый съезд партии! С отчетным докладом выступил Никита Сергеевич Хрущев. Съезд осудил практику отрыва идеологической работы от практики коммунистического строительства, идеологического догматизма и начетничества! Съезд указал, что гражданские войны и насильственные потрясения не являются необходимым этапом пути к новой общественной формации. На съезде с речью выступил товарищ Анастас Микоян, который раскритиковал сталинский Краткий курс истории ВКП(б), отрицательно оценил литературу по истории Октябрьской революции, Гражданской войны и советского государства…»*

Сталина вскакивает и бросается к приемнику. Пытается поймать уплывающую радиоволну. Но из приемника вновь раздается треск.

Хочется услышать главное.

Но главного тогда еще не передавали по радио.

Зато теперь известна точная дата происходящего на заимке. Двадцать пятое февраля 1956 года. В тот день, на закрытом утреннем заседании, Н. С. Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». Культ личности Сталина впервые был осужден публично. В докладе также поднималась проблема реабилитации партийных и военных деятелей, репрессированных при Сталине. Смягченный вариант доклада обнародовали в качестве постановления Президиума ЦК КПСС тридцатого июня 1956 года. В Советском Союзе доклад опубликовали полностью спустя более чем тридцать лет, в 1989 году, в журнале «Известия ЦК КПСС».

Сталина оборачивается и видит: Кучум поднялся и осторожно ходит по избушке. Настя вцепилась в его шерсть и ходит рядом.

Это ее первые шаги.

Костя говорит, как бы извиняясь:

— Ей сколько? Девять месяцев? Девочки начинают ходить раньше пацанов. Мне мать рассказывала, что я вообще пошел в полтора года.

В сенцах раздаются шаги. Входит Герхард. Обметает веничком снег с торбазов, снимает с плеча двустволку и вешает ее на гвоздь у двери. Потом проходит в комнату и тяжело, как старик, садится за стол.

Протягивает ноги в торбазах.

Говорит Сталине:

— Помоги стянуть… Совсем сегодня ухайдокался.

Сталина встает перед ним на колени. Помогает снять меховые сапоги.

Как бы между прочим Кауфман берет со стола Костин пистолет, загоняет в рукоятку обойму. Предохранитель не щелкает.

— У тебя предохранитель сбоит, — говорит Герхард и передергивает затвор, — смотри, не отстрели себе яйца!

Он думает, что Ярков носит пистолет на поясе. Бывали случаи, когда предохранитель сбрасывал, и люди ненароком стреляли себе в ногу.

Или — в пах.

Костя насмешливо отвечает:

— Себе ни за что! А кому-нибудь другому — запросто!

Сталина встает между ними. Забирает у Кауфмана пистолет и протягивает его Косте. Он прячет парабеллум в брезентовый карман-кобуру под мышкой.

Долго и тяжело Герхард смотрит на них:

— Ну, и что же мы теперь будем делать, господа энкаведы?!

Кауфман закуривает короткую трубку, эвенкийскую. И выходит на крыльцо.

Костя хрипло говорит Сталине:

— У меня есть золото… Я намыл по ручьям. Возвращайся ко мне. Ты его все равно не любишь. Настю я в обиду не дам. И Егорка будет жить с нами. Не пропадем.

Сталина зябко кутается в пуховую шаль.

— При чем здесь золото, Костя! О чем ты говоришь… Он спас меня и Егорку от смерти.

— Расскажи, какой он?

— Кто?

— Егорка.

Сталина улыбается.

— Ну какой?! Упрямый. Брови на лбу черные, сросшиеся. Чалдон, он и маленький — чалдон! Про тебя я ему уже рассказала. Два дня ходил смурной. Но Герхарда по-прежнему зовет отцом.

Через месяц Костя уходит из домика мерзлотной станции. Он идет, прихрамывая, опираясь на палку. Нога срослась кривовато, и теперь Костя — колченогий. Так в его шахтерском поселке, на Ургале, мальчишки дразнили хромых фронтовиков. Ничего! Товарищ Сталин был сухорукий, а он будет колченогим. Костя знает, что Сталина любит его и такого.

Сталина вышла Костю проводить. Обнимает за шею, шепчет:

— Когда придешь?

Костя недолго думает.

— Когда его не будет дома, ставь на окошко герань. Я издалека, из распадка, в бинокль увижу. Хоть завтра приду!

Он смеется:

— Доковыляю… Дойти не смогу — приползу! Теперь так всегда будет.

И крепко, в губы, целует Сталину.

Костя сильно спешит. Он подходит к тому месту, где кулемка сбила его с ног, а река подхватили и кинула на камни. Старательский лоток лежит на берегу, кверху дном. Ручей не унес его, а выбросил на берег. Ступня ноет, но Костя так устраивается на камнях, что нога не мешает ему. Для этого приходится присесть на валуны, чуть ли не в воду. В торбазах хлюпает. Студеная вода в ручье, такая же, как и месяц назад.

Только наледи подтаяли и осели. И нет уже заберегов.

Костя не обращает внимания на холод. Он промывает песок.

Вот они, блестки! Тускловаты, но зато много. Будущая для них со Сталиной жизнь. Костя расплатится за все страдания, которые он принес Сталине и их сыну Егорке.

Уже лето.

Здесь оно жаркое, хотя и короткое. Для Сталины и Кости счастливое лето.

Сталина почти бежит по тропинке к Восточному порталу, в домик истопника. По той самой тропинке, по которой они когда-то шли, обнимая друг друга. Только багульник уже отцвел.

Зато Иван-чай бушует.

И все так же беснуется в каменном каньоне неукротимая речка Черт. Дочку Сталина взяла с собой. Не оставишь же, в самом деле, ребенка одного на таежной заимке.

Герхард уходит в горы на целый день.

Кучум издалека услышал быстрые шаги Сталины и выскочил на тропинку. Не лаял, а сразу же бросился облизывать лицо девочки. Костя уже стоял на крыльце. Обнял Сталину, она уткнулась лицом в его грудь. Ничего не страшно с любимым. Костя увлек Сталину в избушку. Девочку оставили у крыльца играть с собакой. Сталина остановила нетерпеливого Костю.

— Подожди… Еще успеем. Нам надо серьезно поговорить. Я не могу больше обманывать Кауфмана. Он знает, что ты ходишь ко мне.

— Переходи ко мне в избушку вместе с Настей. С Кауфманом я поговорю. Как мужик с мужиком. Он поймет меня.

Костю охватывает небывалая радость. Все еще устроится!

Он вытаскивает на улицу свой самовар. Медь бликует на солнце.

— Чаи будем гонять, чалдонские!

Самовар быстро закипает. Костя топит его смолистыми шишками. Водружает самовар во дворе на маленький столик и уходит за чайными чашками и конфетами «Ласточка». Он хочет устроить семейное чаепитие. Как бывало у них в доме, когда отец с матерью были живы.

Девочка гоняется за собакой, весело хохочет. Кучум уворачивается от Насти и задевает столик. Кипящий самовар опрокидывается и падает со стола. В каком-то метре от Насти. Сталина, побледневшая, роняет чайные чашки. Чашки разбиваются. Костя в два прыжка подскакивает к девочке и хватает Настю на руки. Девочка плачет.

— Испугалась, доченька моя… Ах, этот кобель! Вот мы сейчас его!

На медном самоваре видна вмятина.

Костя, с оттяжкой, пинает Кучума. Лайка, с визгом, отлетает в кусты.

— Не надо, Костя! Зачем ты так?!

Сталина, как подстреленная птица, машет руками. Костя, впервые, назвал их с Геркой девочку дочкой… Понятно, своих детей у него не было. А Егорку, сына, он еще в глаза не видел. Он и правда будет любить ее детей.

Костя сидит на крыльце. Обхватил голову руками. Корит себя за суетливость и спешку. Ведро кипятка… На Насте не осталось бы живого места.

Кто?! Кто подает ему эти знаки?!

Клацала, как затвор автомата, щеколда на лагерном запоре. Скрипели несмазанные петли на дверях. Соболь висел в ловушке, самоубийца. Ручей разбил Костю о камни. А как нес ту женщину высокий и, кажется, рябой зэк на руках, прямо навстречу пулям? Помнишь?! И попросил — не добивай, уже готовы, оба…

Скуля и повизгивая, из-под крыльца вылез Кучум.

На животе подполз к хозяину.

Эх, эх!

Костя обнял собаку за голову. Прижал к груди.

Ну, чего ты, Кучумка. Зачем ты мне лижешь руку? У кого, Господи, мне просить прощения? Перед всеми виноват. Перед сыном Егоркой, которого ни разу не видел, перед Сталиной, которой век завязал, перед девчушкой маленькой, которую чуть не погубил… Перед отцом ее, который не может поднять ружья...

Мы видим, как плачет Ярков.

Смена кадра.

Кауфман, крадучись, подходит к мерзлотной станции. Из кустов он наблюдает за домиком. На окне стоит цветок герани. А утром горшка не было. Герхард по-

нимающе хмыкает, неслышно подходит к крыльцу и распахивает двери. Никого. И дочку взяла с собой. Вот у них до чего уже дошло.

Теперь она сама к нему бегает. Правда, вещей с собой никаких не взяла. На подоконнике валяются рыжие пыжи. Такими пыжами только Костя Ярков забивает свои патроны. Герхард достает бутыль со спиртом, наливает себе стакан. Потом переламывает двустволку и загоняет патроны с картечью.

С такими пулями ходят на медведя.

Костя возбужденно строил планы.

Лежали на кровати, Сталина из окошка наблюдала, как Настя играет с собакой. Кучум не давал девочке уходить со двора в близкую тайгу, тянул за подол платьишка.

Настя хохотала, пряталась за собачью будку и дразнила Кучума.

— Надо уходить отсюда. Он не даст нам жить.

— Нет. Кауфман другой человек. Он мстить не будет, но не простит. И потом — куда мы уйдем, Костя? У меня ребенок на руках. А еще Егорка.

— Сначала доберемся до Ургала, дом родителей заколоченный стоит. Потом, через Чегдомын, до водомерного поста на Бурее. У меня там верный человек живет— дядя Коля Бородин, смотритель поста. Ты его, наверное, помнишь. Он в вашем лагпункте почтарем придурялся.

— Зачем нам на Бурею? Останемся на Ургале, попробуешь на работу устроиться. Если не получится — тайга прокормит. Ты же охотник! Егорку из интерната заберем.

Костя возбужденно соскочил с кровати, захромал по комнате.

Схватил свою книгу про БАМ, стал показывать карту.

— Смотри! Вот здесь, за Усть-Ниманом, нашли много золота… На ручье Большой Йорик. Я на Йорике работал когда-то. В старательской артели. Охранял прииск. Сейчас там открыли большой рудник. Поставили поселок, есть драги. Но от старателей золото тоже принимают!

— Зачем нам золото, Костя?!

Костя как-то некрасиво, хищно, засмеялся.

— Как говорит Мыкола-бандеровец, визьмэшь в руки — маешь вещь… Мыкола и нашел то золото. Его люди нашли.

— Странное какое-то название речки. Большой Йорик. У Шекспира, в «Гамлете», шута при короле звали Йориком. Гамлет нашел его череп в могиле.

— Да знаю я, читал. Проходили в институте.

В лагерях мало кто читал книги. Да и что там стояло, на полках в библиотечке?! Один Горький, Алексей Максимович. Странички из его книг хорошо шли на самокрутки.

Глаза Сталины затуманились.

Она как будто что-то вспомнила. Ведь была у них с Костей другая жизнь. Литературный кружок, студенческий театр. Она играла, конечно, Офелию. Споры и стихи до утра.

А что теперь? Парабеллум под мышкой у Кости, торбаза и телогрейка, призраки зэков плачут под горой. Да речка Черт, как загнанный дьявол, бьется в ущелье. Даже летом здесь наледи. Не тают. Почему же так тяжко обернулась для них жизнь? А лагерь… Кому там было легко?

Неожиданно для себя Сталина произнесла вслух… Вспомнила!

— Alas, poor Yorik!

I knew him, Horatio: a fellow of infiniti jest, of most exllenti fancy…

И что-то там еще дальше, на английском языке.

Читатель, конечно, помнит знаменитый монолог Гамлета!

«Бедный Йорик! Я знал его, Горацио: это был человек с бесконечным юмором и дивною фантазиею. Тысячу раз носил он меня на плечах, а теперь… Как отталкивает мое воображение эти останки! Мне почти дурно. Тут были уста — я целовал их так часто. Где теперь твои шутки, твои ужимки? Где песни, молнии острот, от которых все пирующие хохотали до упаду? Кто сострит теперь над твоею же костяной улыбкой? Все пропало».

— Not one now, to tock your own grinning? Quit chap-fallen, — закончила Сталина.

Все пропало.

Костяная улыбка.

Костя ничуть не удивлен. Сталина у него не только красавица, но и умница. Редкое сочетание для женщины. Такой была Костина мать. Вместе с отцом они жили долго и счастливо. И Косте хочется повторить такую жизнь.

Костя тоже не ургальский лапоть, кое-что и он помнит.

— Знаешь, царские топографы, которые первыми открывали те места, были образованными людьми. Инженеры. Я читал о них в исторических справочниках. На берегах ручьев изыскатели-инженеры находили человеческие останки. Старатели ведь приходили раньше них. Люди всегда гибли за металл. Поднял такой топограф череп с косы и произнес: «Бедный Йорик!» А второй подхватил: «Давай назовем речку Йорик!» Там два Йорика — большой и малый. И поселок так назвали.

Сталина с интересом слушала Костю.

Но закончил он неожиданно:

— А вообще-то Ерик, с эвенкийского, большой ленок. Я ловил там ленка до двадцати килограммов. Со временем что-то перепутали в буквах: вместо Ерик стали писать на картах Йорик.

Покачиваясь, Кауфман шел по тропинке к домику Кости. Вот и посмотрим сейчас, кто из нас беднее! Ноги еще держали его. Двустволку нес наперевес. Герку мотало из стороны в сторону. Даже на зоне пить не научился. Очки висели на носу, потому что были подвязаны сзади за дужки то ли веревочкой, то ли резинкой.

Дочка протянула руки, он подхватил ее.

Лайка недовольно посмотрела им вслед.

Так и вошел в дом. На одной руке Настенька, в другой двустволка.

Костя соскочил с кровати, потянулся к парабеллуму, лежащему на столе.

Но Сталина, простоволосая, в прозрачной комбинашке, уже стояла между ними. Кауфман снял очки и зачем-то начал протирать стеклышки.

Потом сказал:

— Его я убивать не буду… Я убью тебя.

Вскинул ружье.

Сталина уже отобрала у него ребенка и держала дочку на руках.

Мягко отодвинула наставленное на нее дуло.

— Никого ты не убьешь, Гера! И напиваться тебе не стоило. Горе ты луковое!

Кауфман покорно прислонил двустволку к подоконнику, сел за стол, уронив голову на руки, и заплакал. Плечи его тряслись от рыданий.

— Ты предала меня, Говердовская! Все поляки предатели.

— Ты меня спас с Егоркой. Я этого никогда не забуду.

— Вот ты меня и отблагодарила.

— Ты прекрасно знал, Гера, что я тебя никогда не любила. И про Костю я тебе все рассказала. Сердцу не прикажешь. А Егорку ты не любишь.

— Я его еще полюблю.

Кауфман упрямо поднял лохматую голову. Мутным взглядом обвел комнату и увидел на столе аккордеон, покрытый салфеткой-вышивкой. Морской парусник. Работа Сталины. Рукодельница.

— Уже спроворила… Я научу Егора играть на скрипке!

Тут встрял Костя.

— Не надо его учить играть на скрипке. Это мой сын. И он будет играть на аккордеоне.

Кауфман снова уронил голову на руки и сразу захрапел. Ударная доза спирта свалила Герыча с ног. Костя и Сталина осторожно перетащили его на деревянные нары, покрытые оленьей шкурой. Кроме панцирной кровати, в свое время взятой Костей из барака, была еще и лежанка.

— Ты знаешь, я его таким никогда не видела. Он мог выстрелить в меня.

— Не посмел бы… Они все трусоватые и осторожные.

— Кто они?

— Ну… Очкарики, гнилая интеллигенция. Как мы их звали. Таких было много в институте, где я учился. Большинство. Ты не знаешь, зачем он хочет научить Егорку играть на скрипке?

— Все евреи хотят научить своих детей играть на скрипке!

Неожиданно раздался голос Кауфмана:

— Я не еврей, господа энкаведы! Мой дед, Константин Карлович фон Кауфман, дворянин и почетный член Петербургской Академии наук. Генерал-инженер, служил у кавказского наместника Муравьева-Карского. А вы все — голь перекатная! Комсомольцы, добровольцы. Беспокойные сердца. Вохряками были вы, вохряками и останетесь.

И снова захрапел.

Прошло еще время. Что-то, после того прихода пьяного Кауфмана, изменилось в Сталине. Она куталась в шаль, подолгу сидела у окна. Вещи они решили перенести в зимовье Кости. Кауфман их встретил угрюмо. Не угрожал, молча смотрел за тем, как Сталина увязывает свои и дочкины платьишки в узел. Потом сказал:

— Можете здесь оставаться. Я договорился, меня переводят. На Дуссе-Алинь пока никого не назначают. А здесь все полегче, генератор есть, горячая вода опять же. А *ему* какая разница, как топить тоннель: с востока на запад или с запада на восток.

Сталина вышла на крыльцо. Костя в дом не заходил, ждал на дворе.

— Герхард нам предлагает перебраться на станцию. Он уезжает.

Костя ответил:

— Нет, Сталина! Нам теперь надо жить в своем доме.

А она и не возражала.

Кауфман помог перенести вещи. На прощание сказал:

— Дочку не отбирайте. Я буду с ней встречаться. На алименты можешь не подавать. Всегда помогу деньгами.

Костя задиристо ответил:

— Сами справимся!

Кауфман невесело посмотрел на него:

— Ты с собою лучше справься… Береги ее!

Непонятно — кого беречь?!

Сталину или Настеньку? Лучше, конечно, беречь обеих.

Костя с утра решил идти на ручей. Летом он топил тоннель через день. Когда Костя собирался мыть золото, в движениях его появлялась спешка и суетливость. Он то выходил на крыльцо и смотрел на небо, то опять перебирал рюкзак с нехитрой снедью. Сталина давала в дорогу кусок сала, лук, холодную картошку.

Сталина вдруг попросила:

— Оставь мне пистолет. Боюсь я чего-то. Кауфман опять напьется и придет с ружьем.

— Не придет. Я вчера в бинокль наблюдал. Он уже вещи собрал и ждет дрезину с Ургала.

Но парабеллум оставил.

Самородок вывернулся неожиданно. Был он небольшой, но тяжеленький. От счастья у Кости задрожали руки. Уже нынче можно перебраться на Ургал. Купят квартиру или дом. Родительский совсем обветшал… Егорку заберут из интерната. А может, сразу в Комсомольск рвануть?! Там работу скорее найдешь. Да к тому же Мыколе Гринько, в артель, можно податься. Он возьмет! А еще лучше на Большой Йорик. За один сезон столько заработаешь!

Снова взялся за лоток. Сколько раз старался на ручье — все какая-то муть попадалась. Пыльца. А тут, откуда он выкатился?!

Костя, радостный, после обеда прибежал к зимовухе. Летел как на крыльях.

Закричал от калитки:

— Смотри, что добыл!

Кучум, кажется, тоже от избытка чувств, залаял.

Черный самородок поблескивал на ладони, бил лучиками.

Радостное настроение передалось и Сталине. Ярков сейчас сделает все, чтобы Сталина и дети обрели свой дом и долгожданное счастье.

Удача теперь не покинет их.

Костя крикнул:

— Лови!

И кинул увесистый камешек Сталине.

Сталина засмеялась и поймала. Кинула в ответ.

Они играли как дети, получившие новую игрушку.

Смотрели друг на друга влюбленными глазами. Все получится. Кауфман больше не придет с двустволкой наперевес. Егорка вернется к отцу и матери. Новый дом, просторный и светлый, они построят.

— А теперь ты лови! Потяжелее…

Сталина кинула Косте пистолет.

Костя сразу включился в новую игру. Он поймал парабеллум, ловко прокрутил его на пальце — по-ковбойски, как умел это делать только он один, повалился на бок, и с земли снова кинул пистолет Сталине. Она хотела поймать его так же ловко. Сталина умела обращаться с оружием. Но на этот раз промахнулась. Пистолет выскользнул из рук и ударился рукояткой о вымощенную камнем дорожку у крыльца.

Раздался выстрел.

Сбитый предохранитель не сработал.

Сталина медленно опустилась на колени.

На груди на платье, слева, расплывалось кровавое пятно.

Она успела прошептать:

— За что же ты меня так, Костя…

И повалилась лицом вперед.

Все. Недолгое их счастье закончилось. Не бывать светлому дому.

Не случайно опрокинулся самовар с кипятком. Недаром скрипят петли на дверях. И зэки под сопкой строятся и строятся в колонны.

В беспамятстве Костя забежал в избушку. Настя спокойно играла с тряпичной куклой, сделанной из пряжи. Она называла ее Ярни. На английский манер. Наверное, мама научила. Ярни по-английски пряжа.

Выстрела Настя не слышала.

Костя бежал по тоннелю, обхватив голову руками. Куда он бежал, зачем?

Что будет с девочкой, оставшейся в доме? Кто похоронит Сталину? Кто поверит в то, что он не убивал свою любимую?! Предатель…

За что же ты меня так, Господи!

Эхо повторило его крик. И стихло под сводами.

Настало время Яркову проститься со Сталиной навсегда.

Настало время и автору проститься со своими героями-зэками.

Хотя кинороман еще не кончается. И нам предстоит вернуться на перевал. Почти через четверть века. Прощаюсь же я потому, что точнее места для прощания в киноромане не найти. Бухает, как чугунным боталом в колокол, мое израненное сердце.

Это ничего, что от века мы пока все еще язычники.

Вера приживется трудно.

Гневно, как кулаком по столу, стучит моя память.

Не совсем уж мы Иваны, не помнящие родства.

Голос ломается и хрипит.

Табака совсем не осталось в моем кисете.

Нет и глотка воды в походной фляге.

Есть только коробок спичек, чтобы развести свой последний костер.

Да еще патрон в обойме пистолета.

Всей правды сказать не умею.

Но, даст бог, я еще осмелюсь.

Прощаюсь с теми, кто замерзал на Дуссе-Алиньском перевале.

Кто толкал вагонетки с породой.

И тянул по деревянным мосткам тачку. Скрипело колесо…

Кто падал на колени в ледяную шугу, моля о смерти, как об единственном спасении.

Я хотел вас уберечь — не смог.

С Мыколой-бандеровцем, заклятым врагом Советской власти.

С каждой страницей он становился мне почему-то ближе.

С Апостолом — он и меня учил молиться, Стоятелем путей, врачом-вредителем Ревзиным… Со всеми, чьи имена остались цифрами на колышках под Дуссе-Алинем.

И с тобой прощаюсь, Писатель Йорик. Я хотел быть похожим на тебя. Оставляю тебя метаться на серых простынях Ургальской больнички. Обещать могу единственное. О повести «Истопник», спрятанной в черенке зэковской лопаты, я расскажу потомкам.

Метет злая поземка, колючая крупа сечет лицо, снег залепляет глаза.

И в белесом мареве смертельной вьюги растворяются предзонник, вышка с часовым, одинокие фонари на зоне. И тачка, вмурованная в гранит у портала тоннеля, тоже пропадает во мгле.

К кому идти, Господи?! Кому по-собачьи лизнуть руку?

У кого просить прощения?

Тяжелее креста, чем вынести, Ты не даешь.

Затемнение.

Костя вернулся к зимовью.

Он еще не знал, что будет делать. Но бросить девочку рядом с погибшей матерью он не мог. Издалека он увидел, что на разъезде стоит дрезина, и Сталину

на самодельных носилках несут два мужика в форме. Обходчики. Следом идет Герхард. В одной руке у него старый чемодан, за другую уцепилась Настя. Грудь Сталины перебинтована.

Кучум дернулся бежать к девочке, но Костя удержал его за ошейник.

Когда дрезина уехала, Костя вошел в дом и собрался в дорогу.

Кто поверит в то, что пистолет выстрелил случайно?!

Костя взял карабин с патронами, в вещмешок бросил котелок, соль, спички. Сгреб с аккордеона вышивку — морской парусник.

Пусть останется память.

Из альбома вырвал фотографию Сталины. Совсем еще девчонка, в беретке, рабфаковская блуза, на шее бант. А еще захватил карту и компас.

На Дуссе-Алиньском перевале Костю Яркова больше никто и никогда не видел.

Прошло 10 лет. Весна 1966 года. Буреинский водомерный пост

Льда уже почти нет. На Талаканский створ плывут последние льдины из речки Тырмы. Вечером, у костра, поют студенты-туристы. Костя Ярков, отец Климент и смотритель поста, старый знакомец Яркова, дядя Коля Бородин, тоже сидят у огня со студентами. Новые люди нечасто появляются на водомерном посту. Туристы с начала года первые гости на водомерном посту. Ярков, Бородин и Апостол изрядно постаревшие. Сколько лет минуло с той поры, когда мы их впервые встретили в нашем киноромане?! Косте уже под пятьдесят, дядя Коля и Апостол разменяли седьмой десяток.

Студенты поют какие-то новые, таежным отшельникам неизвестные, песни.

ПЕРЕЛЕТНЫЕ АНГЕЛЫ

песня

Нам ночами июльскими не спать на сене,
Не крутить нам по комнатам сладкий дым папирос.
Перелетные ангелы летят на север,
И их нежные крылья обжигает мороз.
Опускаются ангелы на крыши зданий,
И на храмах покинутых ночуют они,
А наутро снимаются в поход свой дальний,
Потому что коротки весенние дни.
И когда ветры теплые в лицо подуют,
И от лени последней ты свой выронишь лом,
Это значит — навек твою башку седую
Осенит избавление лебединым крылом.
Вы не плачьте, братишечки, по давним семьям,
Вы не врите, братишечки, про утраченный юг, —
Перелетные ангелы летят на Север,
И тяжелые крылья над тундрой поют.

Парни в ковбойках и геологических куртках-энцефалитках, с ними две девушки. Модные, одеты и выглядят соответственно времени. Короткие стрижки с челками, в обтяжку свитера, кеды и брючки. Романтики и бродяги. Бригантина поднимает паруса. Им надоело говорить, и спорить, и любить усталые глаза. Шестидесятники.

Песню «Перелетные ангелы» Городницкий написал в 1964-м.

Песня посвящалась узникам Гулага.

Парни и девушки только что одолели на байдарках порожистую речку Тырму. И теперь они идут к Талаканскому створу.

Ищут остатки сталинских лагерей.

А чего их искать?! И на Тырме, и на Ургале лагерные вышки еще стоят. На тоннеле бараки до сих пор не сгнили! Хоть сейчас заходи, растапливай печку и вари картошку… На карту-двухкилометровку, куда ни глянешь, везде пометка «бар». То есть бараки. Вот, посмотрите.

Костя сбивчиво рассказывает парням, но совершенно ясно, что он хочет заинтересовать девушек:

— Я знаю одно место на трассе. Там тачки на деревьях выросли. У Дуссе-Алиньского тоннеля. Тоннель долбили зэки. С одной стороны женщины, а навстречу им — мужики!

Дядя Коля Бородин шепчет Косте Яркову: «Ты поаккуратнее со своими рассказами. Кому они теперь нужны?» Отец Климент, высохший уже совсем, в черном подряснике и в шапочке-скуфейке, приносит в чайнике чай, заваренный морошкой, молча разливает по кружкам.

— Ой, морошка! — удивляется одна из девушек, миловидная, с подведенными губами. — Откуда она?!

— Ледник у нас есть, — скупо поясняет Климент, — тут же кругом вечная мерзлота. Свежую ягоду с лета морозим, до весны потом хранится.

От морошки девушка переходит к непонятному для них:

— А как это на деревьях выросли тачки?!

Костя поворачивается к ней:

— Когда лагерь закрывали — амнистия вышла, зэки побросали все. Чашки, матрацы, инструмент рабочий. Толпами уходили из лагерей. А тут как раз из Свободного, городок такой, подвезли новую партию тачек. Штук шестьсот, наверное. Их свалили прямо на поляне, у предзонника. Деревья здесь растут быстро. Они корнями стелятся по вечной мерзлоте. Вот и проросли, считай за десять лет. Стволами и ветками тачки подняло в небо.

— Ой, как интересно! — девушка придвигается ближе к Косте. — Предзонник… Что это такое, предзонник? А вы, извините, тоже сидели? Вы — зэк?!

Все уже крепко выпили. У туристов с собой разведенный спирт.

Костя раскраснелся и на вопрос не отвечает. Он и сам уже не знает толком. То ли он сам сидел, как зэк, то ли охранял сидельцев. Он порывается рассказать в подробностях, как бабы долбили скалу навстречу мужикам.

Парни не верят, смеются. Старик ведь уже почти, дядька, обросший седыми волосами до плеч, рассказывает зэковские легенды.

А девушки, похоже, верят.

Гитарист Леша, он у них командир, крепкий паренек-физкультурник, в свитере с оленями на груди и в геологических ботинках, переходит, не останавливаясь, на шуточную песню:

Сидели, дым колечками пускали,
Травя за анекдотом анекдот…

Все дружно подхватывают:

А в это время женщины копали,
И продвигались женщины вперед!

Которая Косте особенно нравится — Лена. Он оказывает ей особые знаки внимания. То чайку горячего подольет. То конфетку в желто-зеленой обертке подсунет. Конфетка называется «Ласточка». Дядя Коля расщедрился ради гостей. Достал из припасов. Лена закидывает милую головку, хохочет. Вдвоем, с напарницей, они особенно громко выкрикивают слова «А в это время женщины копали, и продвигались женщины вперед!»

Давно Костя Ярков не ухаживал за молодыми женщинами. Ох, давно…

История песни про два монастыря туманна.

Вроде бы ее написали то ли Львович, то ли Муравьев. Оба жили в Казани. Стихи Ларина Бориса. Шли годы, и песня становилась народной.

Особенно ее полюбили почему-то археологи и художники.

Вон с каким азартом исполняют ее сейчас хабаровские студенты!

В песне средневековая тайна двух монастырей, женского и мужского.

ДВА МОНАСТЫРЯ

песня

Легенду услыхав в далеком детстве,
Не все я понял, честно говоря,
Давным-давно стояли по соседству
Мужской и женский — два монастыря.
Монахам без уходу жилось туго,
Жизнь у монашек тоже не сироп.
И вот однажды друг навстречу другу
Они подземный начали подкоп.
Был труден путь до встречи на рассвете,
И грустно мне — ну, как тут не грустить! —
Ведь прокопали женщины две трети,
Мужчины же лишь треть того пути.

Дальше там было про то, как монахи, параллельно, копали еще под винный погреб, глотали крепленое вино. Ведь не пьют только совы.

Совещались и намечали планы, брали обязательства на год…

Правда, смешная песня. Средневековая.

Мужчины прокопали лишь треть тоннеля.

А разве не так было?!

Девушки опять пристают с расспросами к Яркову. Он им кажется каким-то романтичным бродягой-отшельником.

Из темноты неслышно появляется Климент. Тихо говорит про Костю:

— Он сам в лагере не сидел. Завтра он все вам расскажет. А сейчас ему нужно молиться. Мы на ночь вместе молимся. В свою избушку пойдем.

Костя неохотно поднимается от костра.

Дядя Коля Бородин уже улегся.

Компания провожает Климента и Костю удивленными взглядами.

Флэшбэк. Осень 1956 года. Буреинский водомерный пост

Костя пришел на водомерный пост в конце лета. Оборванный, обросший и грязный. С голодным блеском в глазах. Сплавлялся по диким речкам, пробирался

таежными тропами. В поселки не заходил. Питался дичью и рыбой. Кучум приносил рябчиков. Собака не бросила хозяина.

Делила с ним тяготы пути.

От людей убегал потому, что боялся ареста.

Дядя Коля встретил его не очень приветливо:

— Откуда бежишь, разбойник?

— С Дуссе-Алиня.

— Там же не пробраться?!

— По Ингагли верховья перешел вброд. Дубликан остался справа, слева — Сидорго… Потом Суширь. Вышел на Кывыты. У меня с собою карта была, двухкилометровка. До Гуджала по старому зимнику, зэковскому, топал. Лежневка почти вся в болото ушла. Но тропа еще осталась. Я давно когда-то охотился за Кывытами. В верховьях Гуджала, на зимовье, у меня *ветка* лежала, припрятанная. Чуть рассохлось дно. Пришлось смолить. В Тырме мелкашку обменял на мешок сухарей и пачку соли. Ленка ловил и хариусов.

— А Бурлило, порог?

— Разбило лодку на камнях. Еле выплыл. Последние двадцать километров полз по берегу. Чуть не сдох. Собака спасла.

— Как зверь по тайге рыскаешь… От людей бегаешь? Натворил, небось, чего?!

Костя, обессиленный, упал Бородину в ноги:

— Разреши перезимовать… Христа ради! Я ушел с тоннеля. Меня, наверное, уже ищут.

И рассказал все, как было.

Показал пистолет со сбившимся рычажком предохранителя.

Дядя Коля пожевал губами. Был он уже совершенно лысый. Зимой и летом ходил в меховой безрукавке и в валенках с обрезанными голяшками.

— А меня потом вместе с тобой прихватят. Как пособника убийцы!

— Не убивал я, пойми! Я любил ее.

— Коль любил, чего не уберег?!

Ближе к зиме, сразу после ледостава, на собачьей упряжке приехал отец Климент. Тоже ушел от людей.

— Я в лагере стукачом не был, а теперь уж и подавно не буду… Недолго мне осталось. Под старость дьяволу служить? Они хотят, чтобы я им исповеди пересказывал. Желательно в письменном виде.

Кому «им» — все и так понимали. Без подсказки.

Апостол рассказал Косте, что Сталина выжила. Мужик ее, Кауфман, слышал выстрел и прибежал в домик истопника. Пуля прошла выше сердца, навылет. Это ее и спасло. Кауфман в то утро ждал дрезину. Все сложилось удачно, и в Ургале ей сделали операцию. Костю, конечно, тут же взялись искать. Ему грозил арест. Если и не за попытку убийства, то за незаконное хранение оружия и халатное с ним обращение. В районе о случившемся на Дуссе-Алине много судачили. По одной из версий, Сталина решила вернуться к мужу. А Костя не пускал. Хотел припугнуть, а пистолет как-то сам выстрелил. А может, и не сам…

Потом все поутихло. Ни Сталина, ни муж ее заявления в органы подавать не стали. Они перехали в Чегдомын. Через некоторое время, говорили, Кауфмана забрали в Дальневосточное отделение Академии наук и перевели во Владивосток. Их вроде бы даже освободили от судимости, но пока еще не реабилитировали.

К тому времени массовое возвращение зэков на волю уже началось.

На Дуссе-Алинь новых мерзлотоведов не послали. Тоннель теперь никто не отапливал. Он стал не нужен. Стройка 500 зарастала лесом, а в тоннеле образовались наледи. Порталы заколотили толстыми щитами.

— Везучий ты, Костя, — сказал отец Климент, — но лучше не высовывайся. Скоро совсем все забудется.

Голубые когда-то глаза Апостола совсем уж выцвели.

— Вы вот что, мужики, — сказал дядя Коля, — мутные вы какие-то, оба. Ты — поп-расстрига, а ты — беглый убивец! Выгнать я вас не могу. Но и на киче париться под старость не светит. Получится, что я блат-хату организовал… Тут неподалеку есть распадочек, скрытный. Не сразу и найдешь. У меня там лабаз стоит. Вы рядом избенку срубите, у ручья. А я буду на стреме стоять. Как замаячат красные погоны, вы скорехонько в распадок. А моя хата с краю. Ничего не знаю.

Так и зажили, втроем.

Костя охотился. Апостол рыбачил. Осенью брали на мыша стокилограммового тайменя. Солили на зиму. Был небольшой огородик. Картошка, капуста, репа. Апостол замечательно парил репу с лосятиной. Костя обязательно под осень валил быка. Выносили мясо в рюкзаках.

Почти не ссорились. Только Костя иногда впадал в беспокойство. Замыкался и все бегал по ручьям. Строил планы своего перехода на богатый Йорик. Туда зимой на собачьей упряжке, по замерзшей Буреe, всего ничего, километров триста. У Кости теперь появилась цель. Добыть золота.

Отец Климент его увещевал:

— Оставайся с нами. Тут ты под моим присмотром. Золото до добра не доведет. Зачем тебе золото?

Костя тоскливо смотрел в речную даль.

— Сам не знаю зачем…

Лукавил, конечно. Он не хотел признаваться Апостолу в том, что по ночам его мучила шальная мысль. Сверлила сердце. Вернуться к Сталине, доказать… Что доказать?

Одно дело вернуться нищим и оборванным, другое — с золотом.

К утру мысль проходила. Он понимал, что вернуться невозможно. Может, только для того, чтобы спросить: неужели она считает, что пистолет в нее выстрелил не случайно?

Костер гас. Вот и угли замерцали. Бесконечно долго можно смотреть на мерцающие угли.

Костя за Апостолом в избушку не пошел. Присел, один, на бережку. Идти молиться не хотелось. Хотелось доспорить, договорить с парнями и девушками. Прошло ведь каких-то десять лет со сталинских времен. А они уже ничего не знают и не помнят. Просто поют песни и хохочут. Дети оттепели. Что же будет потом, когда не станет Кости Яркова, Апостола и дяди Коли Бородина?!

Наутро он не вышел из избушки и туристов не провожал. Ушли романтики. Ушли на Талакан.

Зарядил мелкий дождь. В тот день вода стремительно начала подниматься. В Бурее она вообще поднимается за считанные часы. С берегов капризной Тырмы смывало огромные куски льда, выброшенные весенним паводком.

Льдины быстро несло в Бурею. Апостол поглядывал на реку:

— Хоть дошли бы ребятки… Не затерло бы льдами.

Дядя Коля предположил:

— А они на льдину выбросятся, байдарки закрепят — так и дойдут.

Именно так и случится. Дядя Коля окажется прав. Костя не выходил из зимовья три дня. Лежал на нарах, отвернувшись к стене.

Потом немного отошел. Сказал Апостолу:

— Зимой уйду на Йорик. Дашь упряжку?
— А мы с чем останемся?
— Тогда пешком уйду!

К зиме он прикупил четыре собаки у эвенков-оленеводов, две ему выделил отец Климент. Старенький уже Кучум, совсем поседевший в холке — собаки тоже седеют, у них тоже есть трудные времена, повел упряжку вверх по Бурее. Там, за Ниманом справа, впадал Йорик.

На несколько дней, тайком, остановился в родном Ургале. Старожилов никого почти и не осталось. Костю не узнавали в худом и мосластом, волосы до плеч, старике.

Не выдержал все-таки — погнал упряжку на Дуссе-Алинь. Дошел с одной ночевкой. Домик истопника стоял нетронутый. Только крыльцо подгнило и завалилось. Блесны на подоконнике заржавели, рыжие пыжи… От патронов из его, Костиного, карабина. Из сундука он достал тяжелую книгу в кожаном переплете. Отряхнул пыль… Та самая, подарок Френкеля. Книгу спрятал в непромокаемый олений мешок с поклажей.

Портал тоннеля был забит щитами. Костя отодрал один. Из тоннеля дохнуло холодом. Длинный язык льда, как у задохнувшегося человека, высовывался из горла тоннеля.

Флэшбэк. Апрель 1977 года. Дуссе-Алиньский тоннель

Скорее это не флэшбэк, а флэш-фьючер.

Возвращение в будущее. Back to the Future. Уже не один раз в киноромане применялся такой прием.

Сейчас Костя Ярков бежит по темному тоннелю. Помните, после коварного выстрела?!

И вдруг словно открывается занавес. И Костя оказывается на перроне.

Яркий свет прожекторов, оркестр и наш, уже неизменный, хор. На этот раз солдатский. А сколько народу собралось на праздник!

Костя попадает в апрель 1977-го.

На перроне выстроились доблестные воины бригады железнодорожных войск под командованием полковника Курочкина. Не очень геройская, прямо скажем, фамилия. Но Курочкин и его солдаты — настоящие герои нашего времени. Они строят Восточный участок БАМа. Восстанавливают Дуссе-Алиньский тоннель. Вынули из чрева горы тридцать три тысячи кубометров льда.

Уж очень торжественный митинг! Дух захватывает. На трибуну приглашают ветеранов стройки. Костя Ярков не может поверить своим глазам.

Поднимаются Летеха, седой и обрюзгший полкаш-отставник, интендант Савенков. Этот, наоборот, высох как щепка, левая щека и веко дергаются. Дядя Коля Бородин — Дуссе-Алиньский почтарь.

Дальше начинается вообще невообразимое для Кости. Вместе с Луночкиным Владимиром Ивановичем, первым секретарем Верхнебуреинского райкома партии, и Анатолием Шафиром, комсомольским вожаком района, на трибуну зовут… Говердовскую и Кауфмана!

Оказывается, доктора наук из Владивостока и знатного мерзлотоведа! Или мерзлотника? Как правильно?!

Но как же это, как?! Костя начинает понимать, что ему снится сон. Какая-то прямо-таки оторопь берет.

Он же сам видел, как Сталина упала лицом вперед, сбитая случайной пулей?! А потом ее тащили на носилках. И в то же время он слышит реплику Летехи: «Без Кауфманов, Шафиров и Говердовских нам даже БАМ не построить».

Значит, Сталину видит не он один. Не может такого быть, чтобы всем снился одинаковый сон.

Следом выкрикивают фамилию Яркова. На негнущихся ногах Костя поднимается на трибуну и хочет встать где-то сзади, за спинами. Но оказывается рядом со Сталиной.

На шее у нее он видит бусы из желтого янтаря. Сталина тихо говорит Косте:

— Не переживай… Меня только ранило. Пуля не задела сердце.

Огромное счастье заполняет Костю. Теснит его грудь. Словно гора с плеч свалилась. Кауфман пожимает Косте руку и смущенно протирает очки. Они все те же, несмотря на солидные усы и дорогую шляпу. Оправа из железной проволочки, дужки сзади скреплены веревочкой. А еще профессор…

Рядом со Сталиной и Кауфманом их дети. Девушка-студентка, Настенька, в руках она держит скрипку в футляре. И молодой мужик лет тридцати, напоминающий нам Костю Яркова в тот момент, когда он возвращался с фронта. Это Егор, сын Сталины и Кости. Он геолог. И он — чалдон.

Сталина говорит:

— Познакомься, Егор! Это твой отец. Я тебе рассказывала о нем.

Егор протягивает руку. Костя бросается обнимать сына, что-то сбивчиво говорит ему.

Мы слышим: «Прости, сынок! Так получилось…»

Как получилось? Разве только рок управляет жизнью человека? А мы сами не творцы собственной судьбы?

— Отец, — говорит Егор, — я стал геологом.

— Что же ты ищешь, сынок?

— Я ищу молибден и золото.

— У нас тут много золота! Я тоже ищу золото. Ты весь в меня. Мы будем вместе искать золото!

Сталина строго шикает на них. Мешают выступающим. Кауфман, отвернувшись от жены, вытирает носовым платком слезы, набежавшие на глаза.

Оркестр начинает играть сквозную мелодию киноромана.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст…

На авансцену перед оркестром выходит Настя Кауфман. В руках у нее скрипка. Тонко и печально Настя подхватывает музыкальную тему и поднимает ее на немыслимую высоту. Насте помогает мировая звезда. Юная скрипачка Лея Чжу.

Композитор фильма, к нему вторичная просьба автора, должен здесь сочинить музыку, которой еще не было. Великая скорбь и великое торжество правды соединятся в музыкальной теме фильма. Если на что и решится автор, то лишь на малую подсказку. Впрочем, один раз он уже подсказывал композитору. Ничего хорошего из этой подсказки не вышло. Каждый в фильме должен заниматься своим делом.

Автор спешит закончить киноромaн!

Сталина берет Костю за руку, и они уходят по тропинке. Идут мимо зоны, мимо бараков и кладбища. Мимо домика мерзлотной станции.

Вся массовка остается на перроне.

Сталина и Костя подходят к роще берез.

На фоне синего неба. Десятки тачек. Парят в воздухе.

Деревья проросли сквозь привезенные из города Свободного и брошенные за ненадобностью тачки. Словно само время вырастило лес зэковских тачек.

И он стал вечным. Дуссе-Алиньский лес. Костя падает на землю, обхватив голову руками. Сталина садится рядом и гладит его по голове.

Рядом стоит Настя. Она играет на скрипке. Ее мелодия, конечно, печальна. Но в отличие от песни, которую в начале фильма исполняет солист, похожий на Козина, мелодия скрипки гармонична. Кажется, что она вплетается в кроны берез и поднимается над скалами.

Костя очнулся.

Ни Сталины нет рядом, ни оркестра, ни строя железнодорожных войск. Он лежит на снегу один, в березовой роще. Над головою у него парят в воздухе тачки.

Костя прыгает в нарты и погоняет Кучума. Ему надо срочно уходить отсюда. На ручей Большой Йорик.

Много лет спустя. Верховье ручья Большой Йорик

Снега по колено,
А вглубь еще выше.
Я в гости к Богу еду —
Один он только слышит.
Снега да бураны,
Морозы да метели.
Не поздно и не рано,
Но к друг другу мы не успели…
Тайга да километры,
Звезда еле светит.
Сибирь. Кто ответит
Тебе, коли крикнешь?

Не Сибирь — Дальний Восток. Но тоже тайга да километры. Наш кинороман, уже по традиции, должен закончиться песней.

Только хор не зэковский. Он современный. Исполняет песню Елена Ваенга, популярная певица.

Отряд геологов, человек шесть, бредет по мари. Выходят к галечникам-косам в истоках Большого Йорика. Стоит жара. Самый конец лета. Над островками иван-чая гудят шмели.

Все геологи разделись по пояс. Плещутся в ручье. Пьют воду, зачерпывая прямо кружкой. Вода чистая. Она с гор.

Где-то здесь, отмеченный на карте, есть барак. Вот и он. Одно крыло барака почти завалилось, просела крыша.

Посланный на разведку опытный рабочий, Кириллыч, выскакивает с перекошенным лицом.

— Начальник! Егор Константинович! — кричит он начальнику партии. — Там этот… Там человек сидит!

Кириллыч, чувствуется, бывалый.

На плече наколка — Раб СССР. На пальцах татуированные перстни и какие-то кресты. Сухопарый и резкий в движениях. Ходит как-то своеобразно. Вприсядку.

Начальник партии Егор Константинович — высокий, черные волосы с проседью — входит в барак. За кургузым столом, откинув голову к стене, сидит человек. У него длинные, до плеч, волосы. Вместо глаз уже впадины, кожа, тонкая, как пергамент, обтягивает выпирающие скулы.

Паутина-плесень расползлась по столу, по одежде. Тронула лицо.

— Умер несколько лет назад. Наверное, старатель. Здесь их много было, — говорит Егор Константинович.

У входа в барак они заметили висящие на привязи лохмотья алыков. Собаки перегрызли упряжь, ушли от голода в тайгу. Рабочие осматривают окрестности барака и в кустах находят обгрызанный мелким зверьем скелет собаки. Валяется широкий ошейник, сделанный из офицерского ремня. На ремне прикреплены три уже выцветших кубаря. Словно у собаки было звание — старший лейтенант.

На столе, перед мумией, лежат карта, тетрадь в коленкоровом переплете, на тряпочке — горстка золота и небольшой самородок. Керосиновая лампа треснула, фитиль засох и съежился. Одна рука старателя безвольно, плетью, повисла вдоль тела. Рядом, под лавкой, валяется заржавевший пистолет.

Как будто он выпал из руки стрелявшего.

Начальник партии ножом выковыривает обойму. Одного патрона в обойме нет. Нет его и в стволе.

— Немецкий парабеллум… Предохранитель сбит.

Егор Константинович рассматривает тряпочку, на которой лежит золото. Когда-то это была вышитая салфетка — морской парусник. Нитки уже выцвели, но паруса и мачты корабля угадываются. Не совсем истлели.

Работяга, с наколкой Раб СССР, возбужденно кричит:

— Начальник! Здесь, в кладовке, много мешочков… Все — тяжеленькие. *Рыжье*, Егор Константинович! И книжка какая-то толстая. Называется «БАМ-НКВД»!

Рыжье, по-воровски, золото.

Бывший вор-рецидивист Кириллыч прикидывает, сколько можно гулять на найденное и проданное барыгам, даже в полцены, золото. Начать можно в ресторане «Золотой Рог» во Владивостоке. Эх, Светланская, какие были ночи! Полные задора и огня. Да что там. Вот он, фарт! Судьба-индейка. Он воровато оглядывается.

Четверо рабочих остались во дворе. Разбивают палатки, ставят лагерь. Начальник партии запретил селиться в бараке. Он вот-вот рухнет.

Егор Константинович листает слипшуюся тетрадь, по краям пробитую зелеными пятнами плесени, рассматривает выцветшую фотокарточку молодой женщины. В солдатском полуистлевшем сидоре находит желтые бусы. Янтарю от времени ничего не сделалось. Даже плесень не тронула.

Камера наплывает, и мы видим на первом листке тетради надпись химическим карандашом: «Истопник. Записки придурка».

Не поворачиваясь к бывшему сидельцу, начальник глухо говорит:

— Кириллыч! Если вы ищете колун, то его здесь нет… А пуля быстрее топора.

Он поправляет свой пистолет в кобуре на поясе.

Кириллыч деланно хмыкает.

— Вам бы все шутить, гражданин начальник.

Кириллыч знает, что следом за ними на Йорик тянут драгу. Уходить вообще некуда. В натуре. Кириллыч неловко задевает плечом умершего старателя. Или погибшего?

Высохшая мумия рассыпается в прах. Рухнул столб позвоночника, покатился череп. Кириллыч отскакивает:

— Ты смотри, падла… Истлел!

Поднимает череп. Во лбу аккуратная дырка. Показывает начальнику.

— Мочнули, кажется. Здесь рыжья килограммов на десять!

— Нет. Золота ведь не тронули. Случайный выстрел из пистолета. А может, и неслучайный… Сам застрелился.

— Кириллыч, взвесьте, пожалуйста, золото и оприходуйте, — говорит начальник, — каждый получит премию. Процент от найденного клада. Золото понесете вы. Отвечаете головой за сохранность. И еще… Выройте могилу на коренном берегу. А я сколочу гроб.

— Да зачем, Егор Константинович?! Тут и хоронить нечего. Кости в яму побросаем…

— Нет. Надо похоронить по-человечески. Как православного. Он был верующим.

Опять наплывает песня.

Я в гости к Богу еду —
Один он только слышит.
Снега да бураны,
Морозы да метели.
Не поздно и не рано,
Но к друг другу мы не успели…

Из кучки на полу Егор Константинович извлекает нательный крестик. Обыкновенный, кажется, на сыромятном ремешке. Забирает тетрадь с расплывшимися буквами. Фотографию девушки в берете. Прячет в свой планшет. С рукоятки пистолета откручивает потемневшую пластинку, на которой с трудом можно разобрать: «За мужество лейтенанту... 1946 г.». Другие слова не читаются. Съела ржа. Из кладовки приносит книгу. Ту самую. Стирает пыль ладонью. Надпись на титульном листе: «Давайте поработаем вместе. Федор Гвоздевский. 1947-й год».

Из барачных досок начальник партии сколачивает неотесанный гроб. Да и не гроб вовсе. Просто ящик. Туда они помещают останки старателя.

Егор Константинович бросает в ящик парабеллум, осторожно, в изголовье, кладет крестик. Над могилой три раза стреляет из своего пистолета.

Вечером, у костра, Егор Константинович достает фляжку со спиртом и плещет всем по кружкам. Работяги рады нечаянному угощению! В партии сухой закон.

— Давайте помянем, — говорит начальник, — Константина Егоровича Яркова, фронтовика, истопника тоннеля и старателя.

Мужики переглядываются. У начальника фамилия тоже Ярков.

— Так этот… — говорит старшой, Кириллыч, — получается — папашка ваш, что ли?

— Да, отец. Я его никогда не видел.

Работяги примолкли. Все они простые люди. Кто отсидел уже, как Кириллыч, кто приехал из России на Дальний Восток по вербовке, за большими деньгами. Что-то большое и важное стоит за словами Егора Константиновича. Какая-то другая жизнь, им не ведомая.

— Извините, Егор Константинович, — деликатничает Кириллыч, — а как вы узнали, что это ваш отец?

— Немецкий пистолет со сбитым предохранителем и пластинкой. Мне мать рассказывала. Он вернулся с войны в сорок шестом. Был награжден именным оружием. Служил в Смерше. Потом в Бамлаге. Фотография мамы. Не знаю, как она сохранилась. И бусы. Видели?! Они из янтаря. Отец их подарил маме, потом ее арестовали… Она служила тоже в НКВД. И книжка эта — про БАМ… Долгая история.

Работяги молча слушают Егора Яркова. Много чего, оказывается, за словами «я его никогда не видел».

— Ошейник, который вы нашли, с кубарями… У него была лайка по кличке Кучум. Помесь собаки и волка. Вернее, чем Кучум, пса не было. Все убежали, а Кучум остался. Он ему такой ошейник сам сделал. Из своего офицерского ремня. И кубари сорвал с петлиц и прикрепил на ошейник.

Кириллыч задумчиво шевелит угли костра.

— Еще раз извиняйте… Так выходит, что золотишко-то — ваше? Наследственное!

Все-таки мысль о кладе не покидает Кириллыча.

— Нет, Кириллыч. Золотишко государственное. И ваше. Вы нашли его, и вы получите свою долю. Я сегодня нашел больше.

Рабочие разошлись по палаткам. Ярков остался один сидеть у костра. Думал про отца, мать и отчима, воспитавшего и выучившего его. Зачем жил его отец? Что он нашел в этой жизни? И что потерял… Если он намыл на Йорике столько золота, то как хотел распорядиться им? Неужели он думал, что у человека бывает вторая жизнь?

Он не написал свою книгу, никогда не видел сына, потерял любимую женщину. Зачем он жил?!

Егор уверен, что жизнь любого человека не проходит напрасно. Теперь у него в наследстве недописанная повесть отца и редкая книга. Всего сто экземпляров. У отца был двадцать четвертый. Как он ему достался?

Косте предстоит узнать многое из жизни отца.

Из палатки вылез, покашливая, Кириллыч. Закурил, подсел к костерку:

— Не спится, начальник?

— Не спится. Знаете, о чем я думаю, Кириллыч… Нам завтра в дорогу, когда еще здесь будем? А крест не поставили. Утром не до того будет.

— Думаешь, надо?

— Надо, Кириллыч.

— Ну… Так давай ладить.

Кириллыч взял топор и пошел вырубать крест из лиственницы.

Мы видим издалека, как на высоком берегу два человека ставят крест.

Предрассветный туман наползает от Йорика.

КОНЕЦ ФИЛЬМА